



ПЕРВЫЙ,  
КОГО ОНА ЗАБЫЛА

**СИРИЛ**  
**МАССАРОТТО**

КНИГА О САМОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ  
И АБСОЛЮТНОЙ ЛЮБВИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР-ЧИТАЕТ ВСЬ МИР

## Annotation

Эта книга — о любви. О любви абсолютной, которая не ослабевает с годами, которая не зависит ни от каких обстоятельств, — о любви сына и матери. Эта книга — об уходе. Главный герой, молодой писатель по имени Тома, переживает самые тяжелые годы жизни. Его мать больна, с каждым днем коварный Альцгеймер отвоевывает новый и новый участок ее мозга, чтобы заставить ее забыть о тех, кто был ей дорог больше всех, — о детях. Эта книга пронзительная, трогательная и — примиряющая с жизнью. В момент, когда Тома будет больше всего, он получит подтверждение тому, что мать помнила о нем и любила его — всегда. Массаротто между строк ставит простые вопросы о любви и судьбе. Le Parisien Два голоса — матери и сына — рассказывают нам историю великой любви. Elle Я плакала и смеялась, читая этот роман. У Сирила Массаротто — редкий талант найти самое нужное слово. Amazon.fr

---

- [Сирил Массаротто](#)
    - [Часть первая](#)
      - [Один](#)
      - [Два](#)
      - [Три](#)
      - [Четыре](#)
      - [Пять](#)
      - [Шесть](#)
    - [Часть вторая](#)
      - [Один](#)
      - [Два](#)
      - [Три](#)
      - [Четыре](#)
      - [Пять](#)
      - [Шесть](#)
    - [Эпилог](#)
-

**Сирил Массаротто**

**Первый, кого она забыла**

# Часть первая

## Один Крушение

### *Томб, через три года после дня А*

— Здравствуй, мама.

— Вы кто?

Так рухнул мой мир: одна-единственная фраза — и я стал первым, кого она забыла.

### *Мадлен, в день А*

В тот день я выходила из супермаркета. День как день, ничего особенного, надо было прикупить кое-чего на выходные: овощей, не био, а самых обыкновенных; еще курицу, помидоров. (Томб с того самого дня, как узнал это в школе, все твердил мне: «Мама, помидор — это фрукт, да-да, фрукт, честное слово!», и с тех пор, составляя список покупок, я никогда больше не записывала помидоры в овощи.) Еще я взяла несколько бананов и сеточку яблок. Но главное — на дне моей «экологической» сумки звякали, ударяясь одна о другую, две бутылки канадского кленового сиропа — для десерта. Мои ребятки — все трое — так любят поливать этим сладким тягучим ликером фруктовый салат! Это уже стало семейной традицией: когда они приходят все вместе на обед, в воскресенье или по случаю какого-нибудь праздника, они всегда получают по большому салатнику, где несколько кусочков фруктов плавают в целом море сиропа.

Сласти творят чудеса: благодаря им любой взрослый превращается в ребенка.

Когда я вышла через главные двери, те, что находятся напротив кассы номер двадцать шесть — мое счастливое число, день моей свадьбы, — я вдруг забыла, куда поставила машину. В последние годы такое случалось со мной нередко, я то и дело забывала, где моя машина, в каком ряду я ее поставила. Я всегда была такой, это у меня, конечно, от мамы, которая вечно все забывала, путала имена и даты, теряла ключи; отец называл ее растеряшкой, и я в детстве долго думала, что растеряшка — это такая

мышка, не знаю почему, просто мне так казалось из-за названия. Но все, что забывалось, обычно вспоминалось снова — стоило только немного сосредоточиться. Так где же я ее все-таки оставила эту машину? Справа, рядом с большим навесом для тележек, или все же левее, около мест для инвалидов? Мне никак было не вспомнить. Терпение, не будем волноваться, решила я: через минутку, нет, через полминутки я все вспомню.

Как всегда.

Минутка оказалась долгой; не одну, а две или три минуты — вот сколько она продлилась. Терпение мне не помогло: я ничего не вспомнила. Я не стала нервничать, а решила прогуляться туда-сюда по паркингу: так я точно рано или поздно наткнусь на свою машину. Я пошла вдоль первого правого ряда и вдруг в ужасе остановилась: я поняла, что главная моя беда была не в том, что я забыла, куда поставила свою машину. Нет, самое страшное было, что я не помнила, какую машину искать, — маленькую красную или большую синюю.

Вот так рухнул в тот день мой мир; я стала маразматичкой.

### ***Томб, через три года после дня А***

— Мама, это же я! Томб!

— Томб... Конечно... Томб... Э-э-э... вы... э-э-э... Нет, я вас не знаю.

Почему? Почему она меня забыла? Почему именно меня? Конечно, мы знали, что это случится, знали с самого начала, с того момента, когда медицина в лице маленького чернявого толстячка с короткими ручками услужливо объяснила нам, что все будет очень тяжело и не только для нашей бедной мамы, но и для нас, что процесс необратим; мы про все это знали — про деградацию, про разные стадии развития процесса, про постепенную потерю самостоятельности; мы знали все эти дикие термины: агнозия, апраксия, афазия и ожидаемая продолжительность жизни.

Нет ничего противоречивее, чем это выражение — «ожидаемая продолжительность жизни»: ведь когда вам говорят такое, это означает, что ждать-то больше и нечего, впереди только смерть, и единственное, на что можно еще надеяться, чего ожидать, — что она не будет ни слишком медленной, ни слишком мучительной.

Все это было известно, мне известно, и я принял это, — у меня не было выбора. Да, принял, но не на таких же условиях! Чтобы стать первым,

кого она забыла!

Как вообще такое могло случиться? Не может она меня забыть! Меня!..

— Ладно, посмотри немного телевизор, потом тебе станет лучше, и ты узнаешь меня — конечно же, узнаешь.

— Который час?

— Девять утра, мама. Я на ночь уезжал к себе. Ты спала?

— Не знаю.

— Ну, ты же помнишь: вчера вечером я был тут, с тобой, а сегодня утром приехал опять, как всегда! погоди, я зашел в аптеку за твоими лекарствами.

— Ой, вы будете делать мне укол?

— Укол? Какой укол?

— Откуда я знаю! Дайте мне, пожалуйста, посмотреть телевизор.

И тут меня словно ударило — прямо в сердце: ведь с самого моего прихода она называет меня на «вы»! Моя мама говорит мне «вы». Вчера вечером я был Томб, ее сынок, а утром она мне выкает. Как такое могло получиться: чтобы за одну ночь я начисто исчез из ее головы?

Это не я, это она только что сделала мне укол — больно кольнула своей забывчивостью. Такое чувство, что она вонзила мне иглу между глаз — страшно больно; я таращусь, чтобы как-то перетерпеть боль, которая как будто стекает по щекам.

— Ну, мама, я же не доктор! Посмотри на меня. Дай сюда пульт, я убавлю звук. Посмотри на меня. Ты узнаешь меня, а, мам? Я не делаю уколов, я твой сын, Томб, ты же знаешь, — твой любимчик! Ладно, шучу, ты нас всех троих любишь одинаково, да? Твоих ребятишек! Скажи, ты их одинаково любишь, твоих ребят? Расскажи-ка мне о детях, всё и вспомнится.

— О детях? Да, конечно, у меня есть дети!

— Ну, давай, рассказывай!

— Старший — Робер, он родился ровно через девять месяцев после нашей свадьбы. Дитя брачной ночи — так про него говорили. Ах, вы знаете, когда Робер был маленьким, он терпеть не мог своего имени — это у него началось, как только он пошел в школу. А я ведь говорила мужу, что не стоило называть его в честь дедушки, но тот погиб на войне, сражаясь за Францию, и был награжден медалью — разве с этим поспоришь, особенно если ты дочь невоеннообязанного, куда там! Ну, Робер так Робер. Он стал называть себя Боб: узнал, что в Америке Роберта де Ниро — знаете, это

артист такой, — все зовут «Боб», вот и он долго так себя называл. Но потом, когда стал взрослым, это у него прошло, и теперь он представляется всем как Робер.

— Отлично, молодец.

— Он — судебный исполнитель. Это очень хорошая работа, он много зарабатывает, мы, его родители, никогда столько не зарабатывали. Вы не можете этого знать, но для матери это такая радость, такая гордость — знать, что ее сын чего-то добился в жизни.

Почему же, я знаю. Когда вышел мой первый роман, они тоже гордились — мама и папа. Особенно папа. Он перечитал все мои книги, он знал их лучше, чем я сам. Мама тоже гордилась, но потихоньку. В тот день, когда она попросила надписать ей мою книжку, я сначала подумал, что она шутит, но когда понял, что ей действительно этого хочется, чуть ли не неделю придумывал, что бы такое ей написать. Единственная дарственная надпись, которую можно написать собственной матери — это слова благодарности, а чем еще отблагодарить мать, как не пообещав ей по возможности остаться в живых? Вот я и написал: «Моей маме, которая не спросила меня, хочу ли я жить, но которая всегда все делала для того, чтобы мне хотелось увидеть завтрашний день». Она прочла и ничего не сказала, но мне показалось, что она была разочарована, конечно, тут больше подошло бы простое «Я тебя люблю». Посвящения подобного рода были ей до лампочки, а «Я тебя люблю» — такого я ей, конечно же, никогда в жизни не говорил. А вот написать мог бы...

— Кстати о гордости, что там с твоим следующим ребенком? Расскажи-ка мне все о нем!

— Следующей у меня родилась доченька, Жюльетт.

— Нет, а до Жюльетт!

— Робер? Так я только что о нем рассказала!

— Да, а после Робера?

— Так доченька — Жюльетт!

Да нет же, черт возьми, через три года после Робера был я! Я, а уже потом, через два года после меня, — Жюльетт, наша младшенькая!

— Расскажи про нее...

— Вы знаете, она такая милая, моя доченька, у нее свое агентство недвижимости, и она так много работает, но навещает меня почти каждый день!

Да нет же, неправда! Она приезжает только по выходным! Это я, я один, прихожу каждый день, все время, а те двое — они живут слишком далеко, у них всегда работы по горло и никогда нет времени, черт бы их



подрал! А вот я действительно торчу здесь все время, каждый день! Каждый чертов день я тут бываю, а ты меня не узнаешь?

— Да, мама, а между сыном и дочкой, между Робером и Жюльетт, был?.. Был?..

Она не отвечает, только смотрит на меня. Пустота.

— Был я, мама! Твой сын Томб! Писатель. Ты еще говорила: «Он так меня беспокоит, решил заняться творчеством, вот его брат и сестра, у них, по крайней мере, всегда будет кусок хлеба!» А потом, когда ты увидела меня по телевизору, помнишь, ты была такая гордая, и на следующий день, когда я пришел, призналась мне, что это была твоя детская мечта — творчество, что ты всегда обожала живопись, но вы были слишком бедные, а бедность не любит холсты и кисти! Ну, скажи, помнишь? Младший сын, творческая личность, писатель! Давай же, вспоминай! У тебя трое детей — Робер, я и Жюльетт! Давай, скажи сама: сначала у тебя родился Робер, а потом...

— Жюльетт...

Это ужасно, но в какой-то момент мне захотелось ее ударить. Залепить хорошую оплеуху, как в кино — чтобы мозги встали на место.

— Ну, ладно, хорошо. Жюльетт, Робер... Неважно.

Мне хочется все бросить и зарыдать от ярости, разреветься, как обиженный ребенок, чтобы она увидела, как мне больно, как больно она мне делает...

— Ну, а в остальном как, мама? Все в порядке? Чем ты сегодня занималась, кроме телевизора?

## **Мадлен, день А**

Я без сил прислонилась к плексигласовой стенке навеса для тележек, поставив сумку с продуктами между ног; меня охватил ужас, страшнее которого и быть не может: я почувствовала внутри себя пустоту, абсолютную — зияющую дыру в голове. Словно я схожу с ума.

Что же это такое — с этой дурацкой машиной? Мне пришла мысль — вернее, это было на уровне рефлекса, — вспомнить все с самого начала, перебрать в памяти все свои машины в хронологическом порядке. Я была уверена, что это мне поможет. Первую я прекрасно помнила: чтобы купить ее, я собирала виноград и разносила газеты. Это была настоящая развалюха, и стоила она всего ничего, малюсенький «Фиат», такой

облезлый, что мы с мамой перекрасили его заново — просто кисточкой. Я выбрала желтый цвет, мне казалось, что так будет оригинальнее. Получилось просто ужасно: она вся была в круглых шишках от засохших потеков краски. «Фиат» не продержался и года, я это прекрасно помню, приводная цепь, якобы сверхпрочная, порвалась, и мотор сломался. Тогда я нашла себе «Альфа-Ромео», почти такую же старую, но чуточку покрасивее, во всяком случае, мне не пришло в голову ее перекрашивать. Через несколько месяцев я ее продала, потому что за это время мы познакомились с Максом и купили себе прекрасный «Форд», почти новый, который...

И тут мои мысли остановились: вот он, выход! Надо позвонить Максиму и спросить, какой марки у нас машина! Сейчас я придумаю какой-нибудь предлог, чтобы ему не показалось это слишком странным, а вообще-то за последнее время он уже успел привыкнуть к моим мелким чудачествам... Я засунула руку в сумку, отодвинула в сторону косметичку и футляр для очков и сразу нащупала мобильник. Я включила его большим пальцем и принялась прокручивать имена из записной книжки — А, Б, В, Г, — в странной спешке: сама мысль поговорить с ним словно придавала мне уверенности; Д, Е, Ж, З, буква за буквой, я чувствовала, как сердце у меня бьется тише, становится спокойнее дыхание, да-да, Макс всегда так на меня действовал, направлял мою энергию в правильное русло, умирал меня. И, К, Л — вот, наконец-то, сейчас, один звонок — и всё кончится, я никому ничего не скажу, и, может быть, это никогда больше не повторится — кто знает? Я дошла до М, но там было всего пять номеров: Маникюрша, Мило, Мой дом, Мона и Мясник. Я дважды перечитала их, выключила телефон, снова включила: между Маникюршей и Мило ничего не было. Не было Макса.

Макс...

Макс?

Голова у меня словно вспыхнула пламенем: я забыла не только марку своей машины, я не помнила имени собственного мужа.

### ***Томб, через три года после дня А***

Чтобы рассказать мне, как она провела день, ей хватило двух фраз, разделенных долгим получасовым молчанием. Она сказала, что ничего не делала, только смотрела телевизор. Я подождал еще немного, потом

поцеловал ее в лоб и ушел. Она бросила мне вслед вежливое «до свидания». С собственным сыном так вежливо не обращаются.

Эти несколько минут мне удавалось держаться, но тут я сломался. Увесистый пинок по урне, громогласное «Зарррррра-за!», обращенное ко всему свету, и — слезы.

Не может быть. Такого не может быть. Это несправедливо. Она меня забыла. Меня — среднего сына. Этого ничем не объяснишь! Врачи говорят, что эта чертова болезнь стирает сначала недавние воспоминания: если так, то первой она должна была бы забыть Жюльетт, самую младшую! Так ведь нет же, она помнит даже, где та работает!

Конечно, нам с самого начала объяснили, что болезнь не всегда развивается по одной и той же схеме у всех пациентов. Один врач, не лишенный чувства юмора, сказал мне однажды: «В данном случае, если можно так выразиться, каждый из них сам себе Альцгеймер!» Я с удовольствием заехал бы ему в морду, этому юмористу. Так что вполне возможно, что мамины воспоминания подверглись атаке с обоих концов, и самые старые оказались затронуты так же, как и недавние: ее память будет стираться и с начала. Но в таком случае, первым она должна была бы забыть Робера, который родился раньше всех!

Либо Жюльетт, либо Робера — иначе не получается! И что же? Меня-то почему, черт подери?! Среднего — с медицинской точки зрения мне это кажется необъяснимым! Если только...

Если только это не ее мозг сам сортирует воспоминания. В нем остается все меньше и меньше рабочего места, вот он и отбирает — что-то оставляет, а что-то выбрасывает, в зависимости от степени важности. Похоже, что я не так важен для нее, как мой старший брат и младшая сестричка, вот меня и вывели вон при первой же генеральной уборке.

В сущности, все просто: мама любила меня меньше остальных. Я занимал меньше места в ее сердце, а следовательно, и в ее мозгу.

Кого меньше любят, того и забывают первым. Железная логика. И все же три года назад, когда все началось, она позвонила мне.

Не Роберу.

Не Жюльетт.

Мне.

**Мадлен. день А**

Я думала, что сейчас упаду в обморок от этой пустоты, от охватившего меня страха. Но потом я сказала себе: «Надо позвонить Томб, он все поймет, он приедет за мной, и я скажу ему всю правду — пусть. Я признаюсь ему в том, что вот уже несколько месяцев скрываю от всех, от себя самой». Этому надо дать выход, хватит. Я едва держалась на ногах, чуть ли не сползая по прозрачной стенке под косыми взглядами людей, опускавших монетки и дергавших за цепочку, чтобы высвободить тележку, в голове у меня крутилась тысяча вопросов, положение было ужасное, и с этим надо было что-то делать. Мне необходимо было все рассказать.

Я прокручивала на экране мобильного буквы от М до Т, моля Бога, чтобы Томб был там и чтобы этот Томб оказался моим сыном. Р, С, потом Т и... Слава богу! — он здесь. Я нажала на кнопочку с зеленой телефонной трубкой, прижала телефон к уху и почувствовала под пальцами выступившие на виске капельки пота.

— Алло!

— Томб?

— Да?

— Мой сын Томб?

— Да, мама, что случилось?

— Приезжай за мной. Мне нехорошо.

Он приехал быстро, минут через десять-пятнадцать, но за это время лучше мне не стало. Проходившая мимо женщина странно взглянула на меня и предложила воды, я согласилась, тогда она разорвала полиэтилен на упаковке из шести бутылочек с питьевой водой и протянула мне одну из них. Я поблагодарила ее, попила и стала ждать сына. Я не спускала глаз с въезда на парковку и, едва завидев его машину — ее-то я сразу узнала, — поднялась, одернула одежду и пальцами поправила волосы, чтобы привести себя хоть немного в порядок. Я помахала ему рукой, но он не заметил меня и проехал дальше.

Я смотрела, как удаляется его машина, потом он развернулся, и тогда я замахала ему сильнее, привстав на цыпочки, и он наконец меня увидел. Он два раза просигналил мне фарами, как будто подмигнул, и я опустила каблуки на землю. Мне было немного больно в икрах. Поравнявшись со мной, он протянул длинную тонкую руку, открыл дверцу, и я уселась рядом с ним.

— Что случилось? У тебя сломалась машина? Почему ты ничего не стала мне говорить?

Я попросила его остановиться чуть поодаль, и он встал на обочине перед самой автозаправкой. Я попросила его выключить зажигание —

разговор предстоял длинный — и принялась рассказывать все с самого начала, ну, то есть с того момента, который еще помнила. Я все говорила и говорила, и это было так хорошо — наконец-то выговориться. Я не могла остановиться, рассказывая ему все в мельчайших подробностях, у меня даже создалось странное впечатление, что я не забыла ни одного случая моей забывчивости. Он ничего не говорил, слушал; в какой-то момент включил аварийную сигнализацию. Наконец я добралась до того, что случилось час назад.

— Представляешь, я вдруг решила, что твоего отца зовут Макс, и я даже стала искать имя Макс у себя в телефоне!

— Но, мама, послушай, папу действительно звали Макс!

— Ах, ты так говоришь, чтобы меня успокоить, я же не сумасшедшая, в самом деле! Этот дурацкий мобильник...

— Мама, папа умер прошлым летом.

## Два Ложь

### *Мадлен, день А*

Томб отвез меня прямо в больницу. Сидя в коридоре на стуле со сломанной спинкой, я смотрела, как он разговаривает с врачом. Сын то и дело проводил рукой по лицу, закрывал глаза, набирал полной грудью воздух и выдыхал его, чуть согнувшись. Я сидела, окаменев от страха. Боялась врача, потому что знала, что ему говорит Томб: он передавал ему то, что я рассказала ему в машине. Он говорил ему правду.

А правда заключалась в том, что вот уже несколько месяцев, как я стала забывать. Не так, как раньше, как забывают чье-то имя или куда положил ключи, — забывают, а потом вспоминают. Нет, я стала забывать по-настоящему. Я забывала, и это было как пропасть, как черная дыра, где все пропадало безвозвратно. Я шла на кухню и обнаруживала там кастрюлю с кипящей водой. А ведь я была дома одна, и значит, это я поставила ее на огонь, но ни малейшего намека на воспоминание о том, как я доставала сегодня эту кастрюлю из верхнего шкафчика, как наливала в нее воду, как открывала правый ящик, чтобы взять там щепотку крупной соли, как ставила ее на огонь, у меня не оставалось. В разговорах я забывала о том, что сказала или что сделала накануне или несколько часов назад, и все об этом знали и говорили мне об этом, а я могла поклясться, что ничего этого никогда не было. Никогда я не разбивала эту тарелку на глазах у всей семьи, никогда не говорила, что хотела бы сходить в кино на этот фильм, никогда не ставила бутылку вина в шкафчик в ванной комнате, и тем не менее это было так. Тогда я начала подстраиваться под них, я говорила: «Ну, да, конечно!» или: «Да ладно, я пошутила!» Уже несколько месяцев, как я завела себе блокнотики, куда стала записывать все, что мне надо сделать. Сначала — всякие мелочи, о которых я боялась позабыть; но в последнее время я стала записывать буквально всё. Я знала, что это ненормально. Но тем не менее предпочитала скрывать это, всеми силами отталкивая от себя неизбежность. Не видеть — мне так было лучше.

Врач принял меня и начал спрашивать меня обо всех случаях потери памяти: я ответила, что их у меня было не слишком много: «Нет,

правда, доктор, раз-другой, время от времени, а если подумать, так и вообще — почти ничего».

Он переглянулся с Томб. Томб сказал: «Ну же, мама, в самом деле...», но я опустила глаза, и он замолчал.

Тогда врач захотел узнать, не было ли у меня в последнее время трудностей с разными повседневными мелочами; я ответила: «Нет, доктор, никаких трудностей не было, совсем».

Он снова взглянул на Томб, и теперь тот опустил глаза.

Потом, порывшись в кармане, врач достал такую как бы ручку с фонариком и посмотрел мои зрачки; потом дал мне лист бумаги и велел написать мои имя, фамилию и адрес. Томб спросил, что же теперь будет и нет ли какой-нибудь другой возможности. Врач взглянул на меня, помолчал и вздохнул. А я не имела ни малейшего понятия, что могут означать это долгое молчание и этот вздох.

Потом он ответил, что такие симптомы, как у меня, могут быть связаны с различными проблемами: поражением сосудов головного мозга («Правда-правда, у меня в последнее время часто бывают мигрени! Вот-вот, думаю, в этом все и дело!»), патологией щитовидной железы («Точно, доктор, у моей бабушки были проблемы со щитовидкой, да-да!»), с недостатком витамина В<sub>12</sub> («Ах, доктор, это очень может быть! Я явно недостаточно принимаю витамин В<sub>12</sub>!»), возможно, с депрессией («Больше и думать нечего, доктор! У меня прошлым летом умер муж — конечно же, это оно и есть!»).

Он едва заметно улыбнулся мне, знаете, такой улыбкой, в которой еще меньше выражения, чем если бы он вовсе не улыбался, и сказал, что в ближайшие недели мне предстоит сдать целую кучу анализов. Я ответила, что согласна на обследование, хотя, по-моему, щитовидка, депрессия и недостаток витамина В<sub>12</sub> — это самый правильный диагноз.

Тогда он встал и, протянув руку к выходу, проводил нас до двери. Мы обменялись рукопожатием, моя ладонь была влажной.

### ***Томб, через три года после дня А***

Много месяцев назад, еще до диагноза, возможно, прошло даже больше года, мы с Робером и Жюли уже прекрасно понимали, что с мамой неладно. Она часто не могла подобрать нужного слова, выглядела то вялой, как бы отсутствующей, то раздражительной, агрессивной. Она всегда так

трепетно относилась к порядку в доме, а теперь стала постепенно запускать свое хозяйство: пол у нее часто бывал не выметен, на мебели скапливалась пыль. Что касается забывчивости, это за ней и раньше водилось в той или иной степени, а потому мы не придали этому значения. И еще: у нее пропало чувство юмора, а ведь она всегда была такая веселая.

В конце концов, основательно обсудив все это втроем (заговорить об этом с мамой мы так и не решились), мы сами выступили в роли врачей, используя в качестве подкрепления Интернет с его миллионами сайтов и форумов, которые якобы помогают вам обходиться без медиков, и постановили, что у нее депрессия после папиной смерти.

Надо сказать, что у мамы были веские причины, чтобы впасть в депрессию и утратить желание смеяться, все это было объяснимо, учитывая папину смерть, — как все происходило, как он угасал на наших глазах и умер у нас на руках. Я, например, с тех пор совершенно не могу писать: стоит мне подойти к компьютеру, чтобы записать несколько фраз, и — оп! — я уже рыдаю в три ручья. Робер, по словам его жены, стал налегать на бутылку, ну, больше, чем обычно, уточнила она, приняв строгий вид. Про Жюльетт я не знаю, она вообще не любит говорить о своих слабостях, так что я только предполагаю, что она стала работать вдвое больше, увеличив свой рабочий день до двадцати восьми или, может даже, тридцати часов.

Если мы трое были настолько потрясены его смертью, то трудно себе даже вообразить, что чувствовала мама: тридцать восемь лет вместе, из них тридцать семь — в браке, и вдруг — вдова в неполные шестьдесят лет. Тут есть от чего забыть пару-тройку слов! И с тем, что каламбурить и шутить ей хотелось все реже — тоже все ясно, как и с перепадами настроения, с отдельными странными высказываниями, разве нет?

Именно что нет. И когда вы пытаетесь выдать сказанное вашей матерью несуществующее слово, вроде «теловизор», за некий шутливый неологизм, придуманный ею специально, чтобы вас развеселить, это значит, что вы не желаете примириться с действительностью. И когда, обнаружив у нее в туалете мясорубку, вздыхаете и с усмешкой качаете головой, вы просто закрываете глаза на очевидное — закрываете из любви и из страха перед болью.

Есть и другое объяснение этого бессмысленного и безответственного поведения, когда три взрослых, вроде бы даже умных человека воображают, что все эти ненормальности исчезнут сами собой именно потому, что они не будут обращать на них внимания. Это — магическое



мышление, так сказать, борьба того детского, что еще остается в нас, с миром взрослых. Все мы пользуемся магическим мышлением, некоторые даже прибегают к нему ежедневно.

Игрок в покер, в надежде, что ему выпадет туз, мысленно обращается к открываемой карте: «Туз, туз... Пожалуйста, будь тузом», — говорит он ей, как будто его мысль может оказать какое-то действие на карту, которую он уже держит в руках. То же самое и с любителем лотереи, который умоляет свой телевизор: «Ну же, давай, достань мне номер двадцать восемь!», словно телевизор может подумать в ответ: «Так и быть, раз уж Бен так просит, выдам я ему его двадцать восьмой номер!»

Когда отец объяснял мне, что такое магическое мышление, я веселился и еще, помню, подумал тогда, что эти людишки... А потом как-то увидел, как он дерет глотку, болея за любимую команду регбистов во время матча, который он смотрел по телевизору через несколько часов после его окончания, потому что не смог уйти с важного совещания. И я сказал ему: «Но это же глупо так орать, папа! Что ты можешь сделать? Матч ведь давно кончился!» Но едва я произнес эти слова, как до меня дошла их нелепость: получается, я допускаю, что все эти ободряющие возгласы действительно могут помочь команде выиграть, только при обязательном условии — болеть надо в режиме реального времени. Вот оно — магическое мышление, я тоже верил в него. Я был одним из «этих людишек».

Точно так же и мы с Робером и Жюли, как «эти людишки», решили, что, если не переворачивать карту «Болезнь», мама и не заболит.

И проиграли.

## Три Итог

### *Мадлен, через полгода после дня А*

Нескольких недель хватило, чтобы отмести все гипотезы: нарушение мозгового кровообращения, недостаток витамина В<sub>12</sub>, щитовидку и депрессию. Хотя депрессия у меня имелась, только это была не сама болезнь, а ее симптом.

Я прошла целую кучу тестов — письменных и визуальных, мне даже велели решать задачки, как в школе. Странные контрольные работы с целыми списками слов. И в результате всего — диагноз.

Альцгеймер.

Конечно, я с самого начала знала это только ни за что не хотела произносить название этой болезни. Впрочем, и о самом понятии «болезнь» я не желала думать. Но вот — свершилось.

Альцгеймер.

Это фамилия того, кто ее открыл, или изобрел, или описал, — не знаю точно. В бумагах, что нам дали в больнице и которые дети прочитали раньше меня, пытаясь скрыть охватившие их панику и отчаяние (на них просто страшно было смотреть), объясняется, что добрый доктор Алоис Альцгеймер понял, что у больных этим неизлечимым нейродегенеративным заболеванием наблюдается кортикальная дистрофия, затрагивающая прежде всего внутреннюю височную долю и, в частности, гиппокамп, то есть главные участки мозга, отвечающие за память. В маленькой рамочке курсивом было написано, что при болезни Альцгеймера клетки мозга начинают дегенерировать, а потом отмирают. В общем, написано так, чтобы врачу было проще объяснить, а больному — понять.

А чтобы было совсем коротко и ясно, все это можно выразить в трех словах: мозг постепенно усыхает, отмирает. А потом, через какое-то время, глядь — а ты и сам помер.

Альцгеймер... Альц... помер.

А что, неплохо получилось. Я ужасно люблю игру слов и всякие дурацкие каламбуры; а что, если, подумалось мне тогда, этот станет моим последним. Было бы забавно; или печально — это как посмотреть.

В брошюрке мое внимание привлек рисунок с изображением нормального мозга в разрезе, а рядом — мозга человека с болезнью Альцгеймера. Я даже улыбнулась, потому что больной мозг, усохший и увядший, был похож на выдолбленную к хэллоуину тыкву. Он как будто корчил рожи.

Что за странное имя — Алоис Альцгеймер. Если бы в детстве у меня в классе оказался такой Алоис Альцгеймер, я бы дразнила его Аль-Аль. И потом надо быть жутко тщеславным, чтобы дать свое имя такой гадости. Странное послание к потомкам. Станный человек.

Я знала, что больна, а теперь поняла, как эта болезнь действует. Когда объявили диагноз, мне кажется, я приняла это известие мужественно и достойно.

Но вот то, что я услышала дальше воспринять было тяжелее, потому что в некотором роде я была сама виновата в этом: я так долго врала сама себе, так долго не желала видеть правду, что мне сразу поставили умеренную стадию, перескочив через начальную, легкую. А на языке Альцгеймера слово «умеренный» означает совсем не то, что в обычном словаре, это не «скромный» или «воздержанный». «Умеренная» стадия — значит «продвинутая, серьезная», за которой следует тяжелая или, иначе говоря, конечная. Ну, с этим словом, по крайней мере, все ясно.

Вот так, получается, я оказалась на предпоследней стадии болезни, на самом пороге конечной, которая еще называется деменцией. Я потом посмотрела в словаре: «деменция» — это синоним «слабоумия», сумасшествия то есть.

### ***Томб, через три с половиной года после дня А***

Когда диагноз «болезнь Альцгеймера» был официально поставлен, первая мысль, пришедшая мне в голову, поразила меня своей банальностью: *ничего больше не будет как раньше.*

*Раньше.*

Когда мама меня знала. Потому что самое страшное не в том, что она меня больше не узнаёт; весь ужас в том, что она меня больше не знает.

*Раньше.*

Когда все было хорошо. Каких-то пять лет назад я был счастливейшим из людей. Я прожил тридцать лет, сидя на облаке, но не на каком-то там облаке, а на том самом, что расположилось под счастливой звездой и не

собиралось из-под нее уплыть. Да-да, я заявляю это не с сегодняшней точки зрения, когда все стало ужасно и я как бы жалею о старых добрых временах, нет, я и правда полностью осознавал тогда, что счастлив, невероятно счастлив, что мне повезло, что все у меня в жизни отлично. По высшему разряду. Необыкновенные родители, просто безупречные; брат и сестра, конечно, не без недостатков, но все равно отличные; и в довершение всего — подружка, хорошенькая, веселая, любящая, понимающая, да и в сексуальном отношении просто образцовая. Прибавим к этому мое писательство: как-никак, три года и столько же книг, а это означало, что больше тысячи дней мне не надо было ходить на работу — мечта всей моей жизни. Плюс друзья, веселье, вкусные обеды и одиночество только тогда, когда я сам того пожелаю. Можно ли быть счастливее? Нет, честное слово. Не жизнь, а совершенство.

И вот настает день, когда вам отрезают ногу: умирает отец. А через полтора года вам объявляют, что на второй ноге у вас гангрена, и ничего тут не поделаешь: скоро придется резать и ее.

Каких-то восемнадцать месяцев — и ваша увеселительная прогулка по жизни заканчивается. Дальше идти некуда, а ведь еще совсем недавно впереди было столько возможностей. И дорога к ним выглядела чертовски привлекательно.

Эту дорогу отчасти проложил для меня отец, да так, что я, конечно, ничего и не заметил. Не было ни нравоучений, ни бесконечных нудных разговоров по любому поводу, нет, он просто действовал личным примером. Показывал, как это — любить без лишних слов, понимать без осуждения, объединять, делиться и смеяться без счета.

Когда с самого раннего детства у вас постоянно перед глазами такой пример, дело сделано, дорога проложена — знай себе, иди. Я прекрасно понимаю: многие могут сказать, что у них был замечательный отец, это нормально, когда люди любят друг друга и когда все у них хорошо; но у меня есть свидетели. Тут дело не в слепой любви, не в естественном рефлексе — как у родителей, которые все без исключения считают, что их ребенок самый прекрасный на свете, даже если этот ребенок весь кривой-косой. Нет, мой отец был действительно замечательным, ну, примерно, как если бы все родители в яслях встали бы у одной кровати и сказали бы: «Вот этот и правда — лучше всех. Единственный и неповторимый». В день похорон таких было очень много, они подходили ко мнежать руку и говорили, что отец изменил всю их жизнь, что он незаменим. А я не знал, что и ответить: ведь мою жизнь он действительно изменил и для меня он действительно был незаменим.

Единственную осмысленную фразу в тот бессмысленный день произнес один из его друзей. «Это не человек умер, — сказал он во время церемонии прощания, — это рухнул целый дом». Он точно подметил: отец был для нас домом, и все мы в этом доме жили. А когда его сердце перестало биться, мы превратились в бездомных бродяг и теперь так и будем таскать за собой по миру груз нашей любви — как мешок с пожитками за спиной. И не найдется в мире никого, кто смог бы облегчить нам этот груз — груз любви, груз разлуки, который вечно будет давить на нас.

Отца хоронили в день моего рождения, некоторые увидели в этом знак, последний привет, свидетельство его любви ко мне, гордости за мои книги, за мою начинающуюся и многообещающую писательскую карьеру; людям нравится повсюду замечать знаки («Случайностей не бывает!»), но я никогда не знал, что мне об этом думать.

К счастью, эти самые люди не увидели остального, потому что там-то было что замечать в смысле знаков («Случайностей не бывает!»). Все это есть в моем первом романе, который отец особенно любил.

Вот они, эти никем не замеченные знаки: во-первых, отец умер в шестьдесят лет, как и герой моего романа, который тоже умирает шестидесятилетним. Но главное, никто из моего окружения не вспомнил, что в этом романе отец героя умирает в день рождения своего сына.

Я не знал, что и думать, разве что радоваться, что я не слишком суеверен, не выискивая дополнительных причин для бессонницы, которых и так было предостаточно. Кстати о суеверии. Меня позабавило, когда те же мои родные и близкие, кто после смерти отца повсюду видел знаки, впоследствии, пытаясь объяснить, почему я оказался первым, кого мама забыла, быстренько взяли на вооружение такой вот довод: «Ну, это же случайность, что тут поделаешь — болезнь, не надо повсюду искать какие-то знаки!» Хотелось бы все же, чтобы мне пояснили, как же это действует — знаки и все такое... То, что нам подходит, это знак, а то, что мешает, — ерунда, обычная превратность судьбы, так?

Потому что, если бы кто-нибудь объяснил мне все это, доказал, что знаки существуют, и показал, как они действуют, я бы взял свое лучшее перо и написал книгу, в которой мама не заболела, а умерла прекрасной смертью, во сне, в преклонном, но не слишком, возрасте — допустим, в девяносто один год. Я бы особо тщательно выбрал для нее день смерти и день похорон — подходящую для меня дату, ничего и ни для кого из нашей семьи не значащую, например 29 февраля. В нашей семье 29 февраля никто

не родился. Кроме того, с такой датой мы бы грустили только раз в четыре года.

Но никто мне ничего не объяснил, и мне пришлось смириться с очевидностью: если бы с точки зрения статистики и мог быть малюсенький шанс, что мама умрет именно 29 февраля, то, что касается возраста, деваться некуда. Потому, что судя по тому, как развивается болезнь, мама продержится недолго, года четыре, может, пять. Будем надеяться, сказал врач. На что надеяться? На знак?

Надо, наверно, было все же ее написать, эту чертову книгу.

### ***Мадлен, через полгода после дня А***

Мне было шестьдесят лет, и я скоро должна была сойти с ума.

Безумие было неизбежно, и мне надо было научиться с этим жить. В наше время в шестьдесят лет ты еще молодая, все так говорят. А мне, когда я пережила свое шестидесятилетие (женщина не отмечает шестидесятилетие, а переживает его), все вообще говорили: «Какие шестьдесят? Ты выглядишь моложе как минимум на четыре-пять лет!» Ну, и как же женщине, которая выглядит на пятьдесят шесть или даже пятьдесят пять лет, смириться с подкрадывающимся к ней слабоумием?

С этого момента началось нечто странное: в течение нескольких недель каждую свою мысль, каждое действие, каждый жест я пропускала сквозь фильтр потенциального безумия. Вопросы сыпались один за другим: «Я уже посолила мясо, но мне хочется добавить еще немного соли, это потому что я схожу с ума? Я что же, буду теперь солить все вокруг?», или: «Почему я чешу себе ухо, уже третий раз за день? Это что, такой бзик, как у психов, — повторять все время один и тот же жест? Нет, точно — я схожу с ума!», или еще: «Интересно, то, что я вижу, происходит на самом деле или это плод моего безумия? Мой сын действительно сейчас со мной разговаривает, или это галлюцинация, такой воображаемый друг, как бывает у чокнутых?» Через какое-то время я подумала, что от этих-то бесконечных вопросов и сойду с ума.

И тогда я перестала к себе присматриваться и решила попробовать жить как можно спокойнее, пользуясь пока своей относительной нормальностью, а безумие, подумала я, подождет.

Но оно, коварное, не стало ждать: я и не заметила, как оно уже было тут как тут.

## **Томб, через три с половиной года после дня А**

В тот злополучный день с парковкой мама действительно очень быстро вспомнила, что папа умер. Вспомнила она и марку, и цвет своей машины — еще до того, как ею занялись в больнице, в самом начале вечера. Это было довольно утешительно.

В последующие три года ей становилось все труднее планировать свои дела на день или на неделю, даже самые простые вещи — распределить деньги, придумать, что поесть, оплатить счета, — и трудности эти становились все более и более заметными. Во время разговора у нее все чаще случались провалы в памяти, проскальзывали какие-то странные фразы или непонятные слова. Она явно многое забывала или путала, и все же в этот период, который я называл первым циклом, мне казалось, что она не так уж плоха, или, по крайней мере, что ее состояние ухудшалось не так быстро, как я думал.

Когда полгода назад начался второй цикл, в тот самый день, когда она меня забыла, моя жизнь обрушилась, земля словно ушла у меня из-под ног, я и представить себе не мог, что со мной может случиться такое, но самое поразительное, что ее жизнь не изменилась ни на йоту. Я, словно по мановению волшебной палочки, исчез из ее головы, из ее жизни, из ее сердца, но кроме этого, ничего особенного не произошло. Я тут же вызвал ее врача, попросил, чтобы тот ее обследовал, и он, испытывая некоторую неловкость и с явным трудом подбирая слова, чтобы изъясняться понятнее, объяснил мне, что на самом деле никакого грозного ухудшения в ее состоянии нет и что все это является (цитирую) «результатом логического развития болезни».

Ах да, ну конечно, она забыла меня, а в остальном — все нормально, все путем, она помнит кучу вещей, кучу народу, она даже узнает собаку своего соседа-алкоголика и называет ее по имени: Филу! Меня мама забыла, я стерся из ее памяти, из ее жизни, а пуделя Филу она прекрасно помнит! И мне еще смеют говорить, что в этом нет ничего ненормального? Что это логично?

Несколько раз, точнее — трижды, — случалось, что она заговаривала со мной обо мне же. Или, вернее, она называла мое имя, потому что я ни разу не знал, говорила ли она именно обо мне или путала чье-то имя с моим. Я всякий раз ее подбадривал, задавал вопросы, но это ничего не давало, все кончалось так же внезапно, как и начиналось. Однажды я

задумался над тем, как она воспринимает мое присутствие рядом с собой в последние месяцы, с тех пор, как она меня забыла, я спрашивал ее, кто я, знакома ли она со мной. Она отвечала, что да, знает меня, я оказывался то милым молодым человеком, то медбратом. Я был частью ее повседневной жизни — и всё.

Я превратился буквально в «одного человека». «Одного» — потому что я и был один, всегда один, рядом с ней. «Человека» — потому что я стал для нее просто человеком, по сути — никем. Совершеннейший парадокс, но она воспринимала его абсолютно естественно.

Радоваться, конечно, было нечему, я бы все отдал, лишь бы она меня вспомнила, но быть с нею рядом, помогать ей — на меня это действовало благотворно. Не видеть ее больше — для меня это было все равно что умереть. Кроме того, я был готов к чему-то гораздо более серьезному, к такому резкому ухудшению ее болезни, что, удостоверившись в конце концов в том, что процесс и правда протекает нормально, в умеренной форме, я умудрялся временами забывать, что моя мать неизлечимо больна. Жил-поживал, позволяя себе даже уезжать — съездил три раза на книжные выставки, организаторам которых пришла в голову удачная мысль меня пригласить. Такое бегство в мое писательское прошлое позволяло мне проветрить мозги.

Вот после возвращения с одной из этих выставок, через пол года после того дня, когда я оказался первым, кого она забыла, и начались серьезные дела. Настоящая болезнь, начало больших проблем, предвестниц полной безнадёги. Короче говоря, полная задница.

Это было в воскресенье вечером, мой поезд каким-то чудом пришел вовремя, я разобрал чемодан, принял душ и как раз приканчивал быстрозамороженную пиццу, когда в кармане у меня завибрировала Жюльетт: «Ты где?» В этом — вся Жюльетт, нетерпеливая, собранная: она знала, во сколько приходит мой поезд, подождала сколько нужно, но, видя, что я не явился к маме ко времени, которое она для меня рассчитала (все из-за пиццы — пришлось предварительно разогреть духовку, а это же так долго, просто невероятно), она, естественно, начала волноваться. Надо сказать, что Жюльетт не привыкла так надолго разлучаться со своими детьми, папками с бумагами и многочисленными сопутствующими занятиями. Такой гиперактивной натуре, как она, целых два дня, проведенных у мамы, должны были показаться особенно долгими и трудными. Я впопыхах доел пиццу и меньше чем через двадцать минут уже целовал свою сестренку, поджидавшую меня у самой входной двери.

— Все было хорошо?



— Да-да, мы почти ничего не делали, впрочем, ей ничего особенно и не хочется... Ты думаешь, мне действительно стоило сидеть с ней с утра до вечера? Она со мной больше почти не разговаривает, у меня было такое впечатление, что я тут вообще ни к чему.

— Кто знает...

— Я осталась только ради тебя, ей-то я вовсе была не нужна, только чтобы покормить да дать лекарства. Я вполне могла бы отлучиться на пару часов, съездить туда-сюда, чтобы убедиться, что все в порядке, ты не думаешь? И вообще, мне кажется, она еще может жить самостоятельно, Томб... Надо только приготовить ей заранее еду, перекрыть газ, ну, еще спрятать кое-какие опасные вещи — на всякий случай, и всё! У нее же еще не началась серьезная стадия, ты знаешь это не хуже меня! Ты же не сидишь тут с ней сутки напролет, правда?

— ...

— Что? Все время?

— Ночью — нет.

— А днем, значит, да? Целый день?

— Да. Но, знаешь, когда пишешь, что тут, что у себя дома...

— Ты пишешь здесь?

— Сейчас, по правде говоря, нет...

— Я так и думала.

— Знаешь, после папы, у меня нет вдохновения...

— Да, понимаю, но здесь... По-моему, это не слишком способствует. Короче говоря, я думаю, что мама не нуждается в том, чтобы за ней постоянно присматривали, хотя... она действительно все забывает, да? Во всяком случае, мне так кажется, а тебе?

— Всё, всё — это ни о чем не говорит...

— Всякие старые дела, истории из прошлого — это понятно, ну, еще она иногда путает имена или людей, но она очень много помнит... Меня беспокоит, что она забывает то, что делала совсем недавно. Спроси ее, чем она занималась сегодня, или на прошлой неделе, она вспомнит две-три вещи, а потом задумается и ничего не ответит, постарается сменить тему или скажет, что устала, а потом...

Ее прервал раздавшийся из гостиной мамин голос:

— Кто там?

— Это я — Томб!

— Какой Томб?

Сестра поморщилась, а я ответил:

— Медбрат, который за тобой ухаживает!

Жюльетт тихонько ткнула меня в грудь: она терпеть не может, когда я так отвечаю маме. Она считает, что в любом случае ей надо систематически говорить, что я ее сын, даже если она этого не понимает. Я пожал плечами, как пожимал уже сто раз раньше, когда она бросала мне те же упреки, а она прошептала: «Не знаю, как ты все это выдерживаешь...» — и быстро обняла меня, почти поцеловала. Мне стало хорошо, и я пошел к маме в гостиную. Она сидела в своем кресле, которое раньше было папиным, напротив телевизора, вытянув ноги на подушку, положенную на низкий столик. На ней был халат и толстые носки, и я в первый раз осознал, что мама — старая. Увидев меня, она радостно улыбнулась, и мне показалось, что она меня узнала. Она сказала:

— Ах, это ты! Мне так тебя не хватало!

Она протянула ко мне руки, и сердце у меня заколотилось как бешеное: я видел по ее взгляду, что она меня узнала. Она была рада, что я пришел, у меня даже выступили слезы, но она вдруг замерла, словно парализованная, и глаза ее застыли на чем-то у меня за спиной. Я обернулся: это была всего лишь Жюльетт, которая уже надела пальто и поправляла ремешок висевшей на плече сумки. Она подошла к маме, чтобы поцеловать ее на прощание:

— Ну, я пошла, а ты остаешься с Томб, мама! Ну что? Ты меня даже не поцелуешь?

— Ах, ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала, шлюха ты этакая? На-ка, поцелуй вот это!

Грубость этих слов была так неожиданна, что Жюльетт застыла как вкопанная и даже не заметила, как мама залепила ей увесистую пощечину. С сухим хлопком мамина рука обрушилась на щеку моей сестры, и Жюльетт, отшатнувшись, налетела на столик. Секунду стояла полная тишина, словно настало небытие, а потом раздался мамин крик:

— Хочешь еще, мерзавка? Еще по роже захотела?

Мама занесла руку, но тут я вступился и удержал ее. Жюльетт, раскрыв рот, отступала под потоком маминой ругани.

— Мерзавка, сучка!

— Мама! Ну, успокойся же!

— Потаскуха, дрянь!

— Мадлен!

Я выкрикнул ее имя. Громко. Застигнутая врасплох, она посмотрела на меня незнакомым взглядом. Тихо, одними губами она проговорила:

— Ну, как же... Как же ты мог?..

Не закончив фразы, она быстро встала в странной позе, словно вся

съежившись, и мелкими шажками направилась в коридор. Мы услышали, как хлопнула дверь ее комнаты, и — всё. Я сел на диван, Жюльетт, заливаясь слезами и держась рукой за щеку, рухнула рядом со мной:

— Что это было? Что я ей сделала?

— Ничего...

— Она все выходные была такая милая, я ничего ей не сделала...

— Ты тут ни при чем, Жюльетт.

Она сняла сумку и пальто и долго плакала у меня на плече.

Когда она ушла, я лег спать на диване, один. «Лег спать» — это так говорится; на самом деле я не сомкнул глаз, все думал, как такое могло произойти, вспоминал мамин взгляд, какие у нее были в тот миг глаза — глаза незнакомого, чужого человека. Я думал о Жюльетт, которая из примерной девочки выросла в образцовую женщину, не услышав от родителей ни единого грубого слова — разве что пожурили ее несколько раз. И вдруг — пощечина, нечто совершенно невообразимое. Я подумал, что она тоже не спит сейчас, попытался представить себе, какую боль причинила ей эта пощечина, эти слова. А потом я заплакал. Я оплакивал будущее, которое представлял себе когда-то и которое никогда не наступит, и будущее, которое невозможно себе представить, но которое обязательно наступит.

За ночь я вставал три, четыре, а может, пять раз и прижимался ухом к двери маминой спальни: может, она тоже плачет? Но — нет, ни единого звука.

На следующее утро, проснувшись очень рано, мама ничего не помнила из случившегося. Я спросил ее, как прошли выходные с Жюльетт, она ответила: «Замечательно! Жюльетт такая милая!» — и заговорила о другом. Было очевидно, что она снова помнит дочь. Сначала мне больно кольнуло в сердце: мне-то не посчастливилось вернуться в мамины мысли. Но очень скоро эта мысль меня покинула, ее вытеснил страх. И не столько страх, сколько боль, потому что не обязательно быть врачом, чтобы понять, что с мамой случился кратковременный припадок безумия, самый первый. Так сказать, предупредительный выстрел, за которым должна последовать долгая канонада.

Жюльетт говорит, что ей до сих пор больно от той пощечины.

Я, конечно, разделяю ее боль. Но если бы она только знала, что мне приходится переживать теперь, изо дня в день...

Все стало развиваться так быстро...

## Четыре Будни

*Мадлен, через год после дня А*

Неужели я схожу с ума? Часто бывает, что я не помню, ни какой сегодня день, ни который час. Я читаю и в ту же секунду забываю, что только что прочла. Я говорю не о чтении книг, об этом теперь и думать нечего, а о простой телепрограмме. Я смотрю, что сейчас будет по первому каналу, но не успеваю положить журнал на место, как все уже забыто. Тогда я снова беру программку, но уже не помню, какой сегодня день. Тогда я пытаюсь сосредоточиться, усиленно копаюсь в памяти, стараюсь заполнить дыры, но мне их уже не найти. Я раздражаюсь, кричу, рву страницы, отшвыриваю чертов журнал. А потом успокаиваюсь и плачу.

Когда я чувствую, что мне лучше, то не могу удержаться и начинаю читать разные отзывы и медицинские отчеты, чтобы знать, что меня ждет. Это ужасно, но я не могу заставить себя не делать этого, как люди, которые притормаживают, чтобы взглянуть на аварию — на распростертого на земле мотоциклиста, накрытого простыней. Я тоже притормаживаю, чтобы разглядеть, только в моем случае мотоциклист под простыней — это я сама. Я испытываю какое-то патологическое любопытство по отношению к самой себе, это ужасно. Я знаю, что со мной будет, знаю в мельчайших подробностях. Есть, разумеется, целая куча вариантов: никто не болеет тем же «альцгеймером», что и его сосед, в этом-то и есть вся прелесть этой штуки, — но в общих чертах я знаю все.

Главное, с уверенностью можно сказать, что моя голова постепенно будет пустеть. И это тяжелее всего. При «альцгеймере» память мало-помалу превращается в этакого рака-отшельника: в один прекрасный день ей надоест сидеть у меня в голове, и она уйдет раз и навсегда, оставив мое тело валяться под водой.

Это самое страшное: я знаю, что однажды стану пустой раковиной.

Когда я думаю обо всех этих вещах — а я думаю о них каждый день, — то стараюсь переключиться на что-нибудь другое, чтобы отвлечься, а еще, чтобы заставить работать эту проклятую башку. Я спрашиваю себя, а что, если моя память вдруг и правда поведет себя как

рак-отшельник и, покинув меня, отправится на поиски новой раковины, побольше, получше — на ее вкус, удобнее. Иногда мне представляется, что сумасшедшие и есть на самом деле такие пустые раковины, в которых поселились разные памяти, вроде моей, и вот эти раки-отшельники начинают драться у них в головах, — ну как тут не свихнуться? И, может быть, в тот день, когда моя память окончательно расстанется со мной, она вдруг объявится где-нибудь в отделении скорой психиатрической помощи, в голове какого-нибудь человека, который станет утверждать, что его зовут Мадлен и что он — мать троих прекрасных детей... Ему сделают укольчик, и мы с ним попытаемся ужиться рядом, в большой больнице, среди других таких же переполненных раковин.

А потом — кто знает? — если он окажется красивым мужчиной, возможно, мы переживем с ним вместе нашу последнюю историю любви...

### ***Томб, через четыре года после дня А***

Сегодня я решил переселиться к маме. По правде говоря, у меня нет выбора. На днях мне позвонила мадам Масси, наша старая соседка, которая приглядывала за нами, когда мы были маленькими, и сказала, что дела у мамы совсем не хороши. Она все чаще кричит, особенно по ночам, ломает вещи, выбрасывает в окна бутылки и другие предметы, и даже если раньше ее, маму, любил весь квартал, то теперь пошли всякие разговоры, поговаривают о том, что надо вызвать полицию или пожарных, чтобы они ее успокоили или отвезли куда следует. Приступы безумия повторяются у нее все чаще и чаще, она набрасывается на меня с ругательствами, сердится, потом успокаивается и становится почти нормальной. Но по ночам ей явно хуже. Так что, думаю, за ней кто-то должен присматривать, а кто это может быть, если не я?

Я поговорил об этом с Робером, которого она месяц назад обозвала тряпкой и мудозвоном, а на прошлой неделе заявила, что он рохля и у него «яйца всмятку» (вот уж не знаю, что она имеет против его причиндалов), и с Жюльетт, и они оба согласились, что за мамой нужен присмотр. С другой стороны, они думают, особенно Жюльетт, что этим должен заниматься не я, что у них достаточно средств, чтобы заплатить кому-нибудь, кто этим займется, что я и так сижу там целыми днями, это уже очень много, так что надо нанять ночную сиделку. Нанять кого-то для присмотра за нашей мамой? Чужого человека, который ничего о ней не знает, который,

возможно, будет плохо с ней обращаться, обворует ее — подобные истории слышишь каждый день! Нет, нет, это должен делать я! И потом, это будет, по крайней мере, практичнее, мне уже осточертело мотаться туда-сюда, возвращаться к себе, только чтобы принять душ и лечь спать, а так у меня в жизни появится хоть какая-то стабильность.

Маме, конечно, пришлось соврать. Жюльетт наотрез отказалась участвовать в моем сценарии, так что пришлось поработать Роберу. Он сказал, что медбрата наняли на полный рабочий день, и он теперь будет жить у нее, чтобы ухаживать за ней наилучшим образом. Она так привыкла видеть меня ежедневно, что почти никак на это не отреагировала. Интересно, как это укладывается у нее в голове: какой-то тип все время торчит тут в доме, называет ее мамой, теперь и вовсе переселяется к ней, и это ничуть ее не шокирует. Как будто она над этим не задумывалась; как будто она вообще больше не задумывается.

Выложив маме придуманную нами ложь, Робер помог мне перевезти кое-какие вещи, которые я хотел взять с собой: главным образом, одежду и мой большой телевизор.

Я вдруг осознал, что, хотя квартира у меня и большая, вещей в ней, в сущности, совсем немного, особенно после того, как Эмма увезла с собой многочисленные кухонные электроприборы, которые покупала, пока жила здесь («Отлично, ты не хочешь, чтобы мы платили пополам за квартиру, тогда я возьму на себя ее оборудование: у тебя же совершенно ничего нет, кроме микроволновки!»). Она, конечно, как всегда, немного преувеличивала: для начала у меня был телевизор, ну, и еще кое-что.

Странно снова оказаться в своей прежней комнате. Я довольно долго прожил с родителями, лет до двадцати семи. Я мог бы уйти от них гораздо раньше, но мне было хорошо с ними, и я не спешил начинать самостоятельную жизнь. Жюльетт вылетела из родного гнезда задолго до меня.

Я поставил телевизор на тумбочку напротив кровати, в надежде, что она выдержит его вес, развесил одежду в шкафу. Это долгое дело — развешивать тряпки по плечикам, особенно рубашки, на каждой из которых надо застегнуть хотя бы одну, верхнюю, пуговичку, и оно быстро надоедает, тем более когда за спиной у тебя стоит мама и говорит: «Дочка сказала, что от вас ушла подружка? Анна, да? Она обманывала вас, так ведь? Ох уж эти девицы легкого поведения!», а ты отвечаешь, что это произошло уже довольно давно, и что ее звали не Анна, а Эмма, что она наша родственница и вроде бы вовсе не «девица легкого поведения». Эмма, которую я считал не подружкой, а своей будущей женой, Эмма, которая,

уходя, унесла с собой и кусок моего вдохновения, как папа. С тех пор как их нет рядом, внутри у меня стало пусто, мне нечего больше сказать, нечего рассказать, нечего сочинить. А ведь тогда, три года назад, мне казалось, что я полон идей, мне приходилось чуть ли не выбирать, жертвовать какими-то книжками, потому что я прекрасно знал, что не успею их все написать! Я отлично помню тогдашние замыслы, но сегодня они уже ничего для меня не значат. Эти истории потеряли для меня всякий интерес, я не способен ничего из них сделать. В конечном счете я не знаю, существует ли оно вообще — вдохновение, или это только желание.

Когда все было расставлено и разложено по местам — не бог весть что, в сущности, — Робер ушел, а я лег на кровать, чтобы опробовать матрас. Моя кровать, моя комната. Как странно в моем возрасте говорить о «своей комнате», когда остальные комнаты тебе не принадлежат. В этом есть нечто инфантильное, даже если моя комната уже давно не похожа на детскую. Отделка за десять лет почти не изменилась, мама только добавила несколько своих безделушек да повесила занавески поярче. Покрывало на кровати в черно-белую клетку, кажется, то же, что и прежде.

Я лежу несколько минут, а потом иду в гостиную к маме. Мне хочется побыть одному, не знаю почему: ностальгия? желание почувствовать себя таким, каким я был десять лет назад, когда был счастлив в этой самой комнате? Друзья мне часто говорили в ту пору: «Томб, послушай! Ты работаешь как все, так заведи себе квартиру и живи тоже как все. Ну что ты застрял у папы-мамы?» Раньше я не знал, как ответить на этот вопрос. Теперь знаю. Я пользовался присутствием своих родителей, их дружбой, любовью, и был прав, тысячу раз прав. Я копил воспоминания, которых у меня иначе просто не было бы, и я никогда не смог бы наверстать упущенное. Есть десятки тысяч цитат о безвозвратно уходящем времени, которое нельзя догнать: поэты писали целые оды, философы формулировали законы, певцы облекали все это в незабываемые мелодии, но что говорить о времени, ведь оно не существует. Время — это вычислительный элемент, придуманный несколькими физиками. Для нас же, остальных, никакого времени нет, есть только приближающаяся смерть. И пока она не наступила, надо собирать, копить воспоминания — сокровища, которых у нас никому не отнять.

Оставаясь все эти годы рядом с родителями, я скопил множество прекрасных воспоминаний, это мое богатство. А вот у мамы ее воспоминания все же отняли. Ее обобрал Альцгеймер. Ублюдок.

Я лежу на кровати и предаюсь воспоминаниям, но что меня ждет

впереди — мне неизвестно.

### ***Мадлен, через полтора года после дня А***

Ну вот, я сошла с ума, так и есть, я — сумасшедшая. Мне кажется, что все нормально, но вдруг я обнаруживаю у себя в спальне страшный кавардак: все перевернуто вверх дном, а на кровати и на полу разложены старые костюмы и галстуки моего мужа; или бывает, что моя кухня оказывается забита вещами, которые долгие годы валялись в подвале: розовый велосипед Жюльетт, с такими маленькими колесиками по бокам, водружен на стол, тома старой энциклопедии сложены стопкой в раковине... Я понимаю, что это сделала я, ведь кроме меня тут никого нет, дверь заперта на ключ, я постоянно ее проверяю, но я готова поклясться, что это не я.

Как-то вечером в дверь позвонил сосед и спросил, все ли у меня в порядке. Я ответила, что да, а он сказал, что его обеспокоили мои крики и жена велела ему ко мне заглянуть: бедная пожилая дама одна дома, ночью, в наше время, мало ли что может случиться... Совершенно очевидно, что кричала я, кто же еще. Но это не я.

Я двигаю все и перекладываю с места на место, я ору, но это не я. Я ничего не помню, и потом, я ведь никогда не доставала эти костюмы и галстуки, я никогда ни на кого не кричала, а тем более, когда я одна, так что вот — я сошла с ума.

Если бы было только это — припадок безумия время от времени, — еще можно было бы жить, но это еще не самое страшное. Более всего мне от того, что я читаю в глазах моих детей. Боль, страх, горе, иногда жалость: самые горькие формы, которые может принимать любовь.

Я больше ничего не стою. Я ни на что не гожусь. Шестьдесят один год, кажется, так, и никакого будущего. Мало-помалу сумасшествие съест мое время, скоро я буду безумствовать час в день, впрочем, может быть, так оно уже и есть, потом — два часа, потом — половину всего времени... И наконец наступит момент, когда я стану полностью сумасшедшей. Все время. Как тяжело. Какая тяжесть для детей, для моих бедных, милых, дорогих ребятишек. Какой груз для общества, для не знаю какой больницы или приюта для старых маразматиков вроде меня, которые ничего уже не могут делать самостоятельно, даже поесть, даже вытереть себе задницу. Вот что будет: совсем скоро кому-то, кого я не знаю, будут платить, чтобы



он вытирал задницу безмозглой идиотке, в которую я превращусь.

Неужели это и есть мое будущее? Неужели ради этого я родилась на свет, пришла на эту землю, чтобы вот так кончить? Но почему? За что? Нет, честное слово, лучше сдохнуть.

Я часто думаю о самоубийстве, но не могу я нанести такой удар моим бедным ребятам. Хотя, с другой стороны, им придется наблюдать мою медленную агонию; ах, я уже не знаю, чего и хотеть. Вот бы маленький сердечный приступ, ночью, во сне, в ближайшие несколько недель, пока я еще большую часть времени остаюсь сама собой. Чтобы им было кого оплакивать — настоящую маму, у которой, правда, в последнее время немного ум заходил за разум, но которая их так любила... Если бы они только знали, как я их люблю. Как может мать объяснить своим детям, насколько сильно она их любит? Единственное преимущество смертельной болезни в том, что можно перестать притворяться, ты больше не обязан жить так, будто никогда не умрешь. Когда знаешь, что умираешь, можно взглянуть правде в лицо. Я вот теперь знаю, вижу, но что мне с того? Разве мне от этого легче выразить то, что я думаю? Не знаю, может быть, пока я еще могу это сделать, написать каждому из них письмо, чтобы они прочитали его, когда меня не станет, длинное письмо, где будет сказано все, что должна сказать своим детям мать, последнее прости, которое останется с ними навсегда? Потому что скоро будет поздно, я знаю. Скоро я уже буду неспособна сказать им многое, потому что это многое перестанет для меня существовать.

Да, наверно, я так и сделаю, напишу каждому из них по письму, чтобы, когда меня не станет, они знали, что я их не забыла. А потом начну играть в лото, потому что мне нечего им оставить, кроме дома; а когда дом приходится делить на троих, его обычно продают. Я не желаю, чтобы в этом доме жили чужие люди, в нашем с Максом доме, где все сделано, все построено нашими руками. Я хочу, чтобы он остался семье. А если я выиграю в лото, то смогу купить еще два. В завещании этот я отпишу Томб: тут и комната его осталась, так что я уверена: он его сохранит.

### ***Томб, через четыре с половиной года после дня А***

Мама бродит. Блуждает. Теперь практически каждую ночь. Спит она эпизодически, в течение дня, засыпает ненадолго время от времени, а ночью начинается невесть что, ночью она словно загипнотизированная.

Часто, когда я у себя в комнате или в гостиной жду сна, который последние годы приходит все реже и реже, я вдруг слышу, как поворачивается ручка и открывается дверь ее спальни. Ручку я немного подкрутил, чтобы она громче скрипела, когда мама ее открывает, так я лучше ее слышу и быстрее могу отреагировать. Каждый раз я иду за ней и нахожу ее то в коридоре, то в ванной — где придется: она прогуливается по всему дому, просто так, без видимой цели. Я пытаюсь с ней заговорить, спрашиваю, что она тут делает, и получаю один из четырех видов ответа: она либо вообще не отвечает, либо говорит, что ей не спалось и захотелось встать, либо бормочет что-то маловразумительное, либо начинает меня обзывать. Бывают, конечно, варианты: она может сначала ударить меня, а потом начать ругаться. Или в другом сочетании: сначала она отвечает, что не хочет спать и что ей захотелось встать, а после этого набрасывается на меня с кулаками или отвечает что-то маловразумительное, а потом обзывает меня и дерется; или еще так: она обзывает меня, потом говорит, что ей не спалось и захотелось встать, после чего набрасывается на меня с кулаками.

Но, так или иначе, по ночам она бродит.

### ***Мадлен, через полтора года после дня А***

Как-то в воскресенье, когда ребята собрались у меня все втроем, я подождала, пока они доедят последнюю каплю кленового сиропа, подцепив ее со дна салатника краешком ложки, и, стараясь говорить как можно мягче, спросила их, не хотели бы они подумать об эвтаназии — пока я не превратилась в полную развалину. Эта штука существует в некоторых странах, таких как Швейцария или, кажется, Бельгия. Я ожидала любой реакции, хотя и надеялась втайне на единодушную поддержку, но тут сразу поняла, что они не желают об этом даже слышать. Особенно возмутилась Жюльетт: как я только могла подумать об этом, это немыслимо, и потом, наука не стоит на месте, а вдруг медики научатся регенерировать нейроны, допустим, года через три, а мне за полгода до этого сделают эвтаназию, ну и глупо же они все будут выглядеть, не говоря уже о горе и чувстве вины за то, что они позволили мне пойти на подобное извращенство. Я стойко выслушала ее и повернулась к Роберу, чтобы он высказал свое мнение. Он был согласен с Жюльетт: Робер — самый старший, но он всегда согласен с Жюльетт. Я вопросительно взглянула на Томб, он задумался на какое-то время, а потом сказал, что понимает, почему у меня возникают такие

мысли, что это закономерно. Тогда Жюльетт повысила тон (как всегда, когда она нервничает) и заявила Томб, что о таких вещах нельзя даже думать, что наука не стоит на месте, что медики научатся регенерировать нейроны, но тут Томб ее перебил, заметив, что она уже говорила это десять секунд назад и повторять это ни к чему, и я почувствовала, что он тоже начинает нервничать, я его хорошо знаю, он всегда понижает голос, когда нервничает, не выпускает ярость наружу. Я попросила всех успокоиться, но они не успокоились; Жюльетт призвала Робера в свидетели, и тот сказал ей: «Ты права, Жюльетт», Томб попугайским голосом повторил: «Ты права, Жюльетт», Робер рассердился, потому что Томб дразнит его так с детства, а сейчас ему должно быть стыдно заниматься такими глупостями. И тогда я сказала, что плохо себя чувствую, у меня кружится голова, и все сразу успокоились. Жюльетт принесла стакан воды, а мальчики тем временем уложили меня на диван и подложили подушки мне под голову и под ноги.

Иногда это даже удобно — болезнь Альцгеймера: никто и не подозревает, что у вас еще хватает хитрости, чтобы симулировать недомогание и тем самым прекратить спор между дорогими ребятами.

Больше ничего хорошего я в этой болезни на данный момент не нахожу.

### ***Томб, через четыре с половиной года после дня А***

Сегодня ночью я опять услышал, как поворачивается дверная ручка; но на этот раз я решил не приставать к ней, не пытаться с ней заговаривать или отводить ее обратно в спальню. Мне было любопытно посмотреть, что она будет делать. И потом, мне надоело получать оплеухи.

Я следил за ее медленными передвижениями в сумраке квартиры: вот она прошла по коридору, тихонько, как в замедленной съемке; она улыбалась. Дойдя до прихожей, вытащила из большой вазы, стоящей рядом с входной дверью, свой зонтик, уделив ему особое внимание: казалось, этот зонтик ее живо интересовал. Потом, волоча его за собой, снова пошла, на этот раз в кухню. Там она зажгла свет и застыла под светильником с закрытыми глазами и едва заметной улыбкой на губах. Так продолжалось несколько минут, в течение которых она стояла не двигаясь — и это она, которой всегда было трудно устоять на месте. Затем, еле заметно обернувшись к зонтику, прошептала: «Ну, что, Марни, я тебя не обманула?»

После этого она подняла голову к светильнику, глядя на этот раз прямо на лампочку. Тут я решил вмешаться, чтобы она не повредила себе глаза, и тихо сказал издали, не входя на кухню, чтобы ее не напугать:

— Мам, ты испортишь себе глаза, прекрати смотреть на свет.

— Оставьте меня в покое!

— Ладно, но при условии, что ты пойдешь со мной в гостиную. Хочешь немного посмотреть телевизор?

— Ну-у-у...

«Ну-у-у...» в ее устах означает обычно «не нет», то есть почти «да», слово, которое она употребляет все реже и реже. Я положил одну ладонь ей на руку, а другую — на спину, но не для того чтобы подтолкнуть ее, а лишь чтобы придать необходимый импульс, и отвел к телевизору, запустив в двухсотый раз ее любимый фильм. Я уложил ее ноги на журнальный столик. Она сказала:

— Какой вы добрый. Милый мальчик...

— Спасибо...

— Вы плачете? Почему вы плачете?

— Просто так, мама. Просто так.

— Конечно, какая-нибудь любовная история. Такие юноши, как вы, обычно плачут из-за девушек!

— В некотором роде, да. Скажем, я плачу из-за женщины.

— Она вас не любит?

— Нет, любит, я уверен, что она любит меня больше всего на свете, только она этого больше не помнит. Она не помнит себя.

— Ну-у-у... вы ее забудете...

— Забуду? Нет, никогда...

— Вы опять плачете?

Да я только и делаю, что плачу. Невероятно, но к этому привыкаешь. Вот доказательство: я уже несколько лет всегда имею при себе пачку носовых платков. Раньше за мной такого не водилось, тем более что я никогда не простужаюсь. Теперь же эти «осушители слез» всегда лежат у меня в кармане — настолько я привык к этому делу. С ума сойти, сколько горя нам приносят те, кого мы любим.

Это какое-то проклятие: сами того не желая, самые любимые наши люди оказываются и самыми жестокими нашими мучителями, покидая нас, они причиняют нам самую сильную боль. Я так любил своего отца, что в день, когда он нас покинул, за несколько минут до его смерти, хотел заключить с ним пакт — абсурдная, нелепая идея, но я изо всех сил уцепился за нее. Папа уже месяц лежал в реанимации, где ему пытались

заново «запустить» сердце, добиться, чтобы оно снова застучало само, без помощи приборов. Врач позвал нас — маму, Робера, Жюльетт и меня — в крохотный кабинет, заваленный горами старых папок, где стоял отслуживший свое компьютер и назойливо щелкал, словно ведя обратный отсчет, кондиционер. Спокойным, исполненным человечности и деликатности тоном, на который мне было глубоко наплевать, врач объяснил нам, что все, что было возможно сделать, уже сделано, и, несмотря на это, папино сердце все же остановится — скоро, через несколько минут или часов. Он добавил, что это хорошо, что все мы оказались здесь, рядом, на момент его ухода. Он проводил нас обратно в реанимационную палату, тихо проговорив напоследок: «Если у вас есть вопросы...», что меня крайне разозлило. Да, у меня есть вопросы, придурок! Ты не мог лучше лечить моего отца? Не мог уберечь его? Ведь такое сердце, как у него, сердце, которое любило столько людей и так сильно, естественно, должно быстрее уставать, быстрее изнашиваться, чем среднестатистическое сердце, вас что, не учили этому, недоучки хреновы?

Конечно, я ничего этого не сказал, только подумал, а в это время все вокруг меня рушилось, пока я шел к его кровати, со всеми этими приборами и трубками, торчащими у него изо рта и из тела. Мы стояли вчетвером у его изголовья, занятые самым ужасным делом на свете: ждали, когда остановится дорогое нам сердце.

Это было так долго, так тяжело, что в эти минуты мне и пришла в голову та самая идея о пакте. Нечто абсурдное, но в то же время совершенно очевидное. Я пригнулся к папиному уху и тихо-тихо, чтобы никто не услышал, сделал ему такое предложение:

— Папа, не уходи, останься со мной, пожалуйста. Я обменяю твою жизнь на жизнь других людей. Да, да, это может сработать, ты останешься жить, а вместо тебя умрут другие, не такие хорошие, как ты, которых мы не знаем, которых меньше любят, которые не хотят жить, которые не любят друг друга. Ну как, сделаем это? Скажи! Ты потихоньку придешь в себя, а вместо тебя пусть умирают другие, десятки, тысячи других, мне наплевать! Целый город, целый континент, но ты, ты останешься с нами! А остальным я объясню, почему это нормально — что все они умрут ради того, чтобы ты остался жить, я поеду к ним и к их семьям, обойду всех по очереди, расскажу им о тебе, и они поймут. Они согласятся! Пожалуйста, не умирай... Они поймут, клянусь тебе...

Он не услышал. Или вернее, насколько я его знаю, он отказался от такого пакта. И в подтверждение этого кривая на мониторе замедлила свой бег, и сестра сказала, что нам пора прощаться. Тут все завертелось со

страшной скоростью; я вижу всех нас, словно это происходит сегодня, словно сейчас мама держит папу за правую руку, Жюльетт за левую, Робер сжимает его голые ступни, слегка растирая их, словно желая согреть, а я, чтобы успокоить его, глажу то по лысеющей голове, то по щеке, и все мы плачем и летим вместе с ним в какую-то бездну, и мир вокруг нас рушится, по мере того как удары его сердца становятся все реже. Мы плачем снова и снова, и нам невообразимо больно, и мы говорим ему: «Мы любим, любим тебя», даже я, хотя мы никогда не говорили с ним друг другу такого, да это и не нужно было, ведь мы и так знали, что любим друг друга, впрочем, последние годы мы даже не целовались при встрече или при прощании, просто ударяли рука об руку, как будто чем больше ты любишь, тем больше этого стесняешься.

Но в эти последние мгновения было уже не до стеснения, и я наверстал упущенное, за несколько секунд сказав «Я тебя люблю» столько раз, сколько хватило бы на целую жизнь.

Медсестра выключила монитор и сказала, что оставит нас на время наедине с ним, а я продолжал твердить: «Папа, я тебя люблю», и всё плакал, плакал. Мы все плакали и всё гладили, гладили ему руки, ноги, лоб, мы могли бы делать это еще долго-долго, потому что не хотели уходить; мы могли бы еще много дней простоять рядом, умирая с ним вместе, нам было так одиноко, горе опустошило нас, свело с ума.

Горе, которое я испытываю сейчас из-за мамы, другое — оно более размытое, не такое концентрированное. Но можно ли сказать, какое горе лучше? Что выбрать, если бы такой выбор был возможен: смерть от десяти сильнейших ударов молотком по голове, каждый из которых причиняет вам невыносимую боль, но гарантирует быстрый конец, или медленное угасание от методичного отравления регулярными дозами ртути?

Не знаю, что я выбрал бы для себя. С родителями же у меня есть право испытать оба варианта. Королевский выбор, в некотором роде.

Вот такой я проклятый король.

## Пять Остатки

### *Мадлен, через два года после дня А*

Не желаю забывать. Хочу помнить всё. Хорошее, плохое, хочу, чтобы у меня в голове, в материнском сердце хранилось всё. Чтобы Альцгеймер отнял у меня все это, вскрыл меня, искромсал, отнял все, что есть у меня самого драгоценного, — нет, ни за что! Ведь он не память у меня отнимает, этот чертов Альцгеймер, нет — день за днем он лишает меня моей души. Душа покидает мое еще живое тело.

Доктор Альцгеймер — это доктор Франкенштейн наоборот: он выдирает душу из совершенно живого тела, тогда как тот сумасшедший ученый вкладывал ее в мертвую оболочку. И я не желаю. Я против. Я хочу сохранить все воспоминания, каждую секунду моей жизни. Не хочу, чтобы оказалось, что я прожила ее напрасно. Хочу помнить. Это мое право. На худой конец, я разрешаю Альцгеймеру забрать у меня все хорошее, все, что он захочет, пусть оставит мне только самое плохое, самые тяжелые воспоминания, которые обычно стараешься забыть. Я согласна хранить в памяти только самое ужасное, пусть только он оставит мне хоть что-то. Я хочу помнить. И пожалуйста — в правильной последовательности.

Хочу помнить самое первое мое воспоминание, мои слезы и страх, когда мама в первый раз оставила меня, бросила, как подумала я тогда, в детском саду.

Хочу помнить, как я прищемила палец кухонной дверью, и у меня сходил ноготь.

Хочу помнить мертвое тельце моего котенка, которое я нашла однажды летом на пустыре за домом; он пропал незадолго до этого, но в его остекленевших глазках уже копошились мухи.

Хочу помнить, как разозлилась, когда узнала, что у меня будет сестричка, помнить свою ненависть к этому маленькому существу, незаконно вторгшемуся в мою жизнь, ненависть, которая жила во мне месяцы, если не годы, прежде чем окончательно исчезла.

Хочу помнить, как горевала о том, что умерли одни мои бабушка с дедушкой, и о том, что других я никогда не знала.

Хочу помнить об угрызениях совести, которые мучали меня в коллеже, за то что я ни разу не вступилась за Марию, когда весь класс потешался над ее стеклянным глазом. Хочу помнить, как мне было стыдно, когда она заплакала, из-за того что я, чтобы выслужиться перед остальными, спросила, почему она не ходит в школу в пиратской повязке на глазу и с попугаем на плече.

Хочу помнить, как у мамы отняли грудь, это было в ту пору, когда еще не делали протезов. Хочу помнить ее смущение и боль, когда по утрам мне случалось увидеть ее искалеченное тело.

Я хочу помнить дорожные аварии, которые мне довелось увидеть, растерзанное тело мужчины, однажды, когда я возвращалась домой пешком с хозяйственной сумкой в руке. Хочу помнить убитых, которых показывали по телевизору, горящих на костре неподвижных монахов, горы трупов, геноцид.

Хочу помнить, как выла от невообразимой боли во время родов Робера, когда мое влагалище разрывалось под скальпелем, потому что тогда не было анестезии, и боль была неизбежна.

Я хочу помнить о Марке, с которым мы работали вместе в бюро, о том, как он исхудал, как ему было плохо и как он потом умер от странной болезни, о которой впоследствии стали столько говорить.

Хочу помнить о реакции моей сестры в тот момент, когда перестало биться сердце нашей мамы, после того как к ней снова вернулся рак и медленно убил ее. Я хочу помнить, как, когда мама перестала дышать и наш семейный врач закрыл ей глаза, сестра, обезумев от горя, бросилась на колени перед ее телом и, заливаясь слезами, стала кричать, как ребенок: «Мама, мама, слышишь, ты не умерла, скажи, что ты не умерла, мамочка!» Я хочу помнить, как мы с доктором смотрели друг на друга, не зная, что делать, настолько иррациональной казалась нам эта ситуация, а сестра все кричала маме в лицо: «Ты не умерла, скажи, что ты не умерла!», кричала ей в самое ухо так громко, что я машинально схватила ее за руку, чтобы оттащить назад: она ведь могла сделать маме больно, повредить ей барабанную перепонку. Хочу помнить, как сразу же поняла, что мое поведение так же иррационально, как и ее: маме больше нельзя было сделать больно, нельзя повредить ни барабанную перепонку, ни что-либо еще. Хочу помнить все это.

Хочу помнить тот день, когда Томб, еще совсем маленький, отстегнулся и упал со своего стульчика, пока я разогревала его рожок, хочу помнить стук, с которым его головка ударилась о кафельный пол, такой глухой звук, как будто арбуз разбился, и как я была уверена, что после



такого удара он не выживет.

Хочу помнить, как я грохнулась в обморок, когда Робер, помогая отцу что-то мастерить, отрезал себе фалангу указательного пальца на правой руке.

Хочу помнить, как умерла моя дорогая младшая сестренка, так глупо, так нелепо, я знаю, что соседи даже посмеивались над такой смертью: конечно, умереть от инсульта, занимаясь любовью.

Хочу помнить день, когда я стала маразматичкой. День, перевернувший всю мою жизнь.

Я хочу этого. Я даже требую. Я запрещаю, чтобы у меня крали мою жизнь, даже самую плохую ее часть, потому что все эти страдания, все слезы — мои.

### ***Томб, через пять лет после дня А***

Я спал, сидя перед включенным телевизором, когда услышал мамин крик. Теперь это часто случается, я даже не сразу вскочил, но через какое-то время мне показалось, что я понимаю слово, которое она без конца твердила.

Слово, от которого в жилах у меня застыла кровь.

Я опрометью бросился к ней в спальню, открыл дверь, зажег свет и увидел, что она плачет, натянув одеяло до подбородка, и повторяет без конца слово, которое я и услышал там, у себя. Она кричала: «Мама! Маааааамааааа!»

Она звала свою мать, умершую от рака сорок лет назад. И вид у нее был такой несчастный, такой испуганный — прямо девочка.

По спине у меня побежали мурашки. Обычно мне достаточно открыть дверь и зажечь свет, чтобы она если и не прекратила совсем кричать, то по крайней мере отвлеклась и позабыла то «неизвестно что», что крутилось у нее в голове. Но на этот раз она оставалась все такой же перепуганной и одинокой, как будто меня тут не было. Тогда я подошел к ней, осторожно положил ладонь ей на плечо, вытянув руку и отклонив назад голову на случай, если ей в энный раз вздумается влечь мне оплеуху, но крики не прекратились. «Мааааама! Мааааамочка!» Она была словно в трансе. Тогда я положил ей на другое плечо вторую руку и легонько встряхнул, чтобы привести ее в сознание. Безрезультатно. Крики становились все пронзительнее, я встряхнул ее сильнее. Ничего. Я потряхнул еще сильнее, но



вопросом, что этот незнакомец делает здесь в столь неурочное время и почему он так странно себя ведет. Она не ударила меня, только посмотрела, как на диковинного зверя. А потом мой смех иссяк, а с ним вышла и вся боль. Мама отвернулась, свернулась калачиком и вскоре заснула, а я остался с ней, уселся на пол у ее кровати и стал привыкать к болезненной тишине.

Я тряс маму. Я сильно тряс ее, орал, был груб с ней. И ведь мне понравилось орать на нее, мне даже будто бы полегчало от этого.

Нет, все же пора мне, наверно, передавать эстафету кому-нибудь другому.

### ***Мадлен, через два года после дня А***

Томб практически все время находится рядом со мной. Такой милый мальчик! В его возрасте ему бы не с матерью возиться, а попытаться вновь завоевать Эмму или, на худой конец, найти ей замену. Мне Эмма очень даже нравилась, хотя вообще-то я предпочитаю южанок, я всегда представляла себе Томб рядом с красавицей брюнеткой, смуглой, с матовой кожей, а Эмма — блондинка с голубыми глазами, но все равно я бы оставила ее в качестве невестки. Только вот после смерти отца он ее как-то подзабросил, а теперь еще и со мной такое случилось, конечно, это не улучшило ситуацию... Я ему все время говорю: «Томб, возвращайся к себе, позвони Эмме, я уверена, что она не стала ни с кем сходитьсь, два месяца, делов-то, за два месяца женщина не найдет замену мужчине, тем более такому, как ты, а он мне говорит, что уже больше года, как она ушла, а я начинаю злиться, потому что со временем у меня становится все хуже и хуже, я в нем ничего больше не смыслю, и на самом деле я так рада, что Томб со мной, ведь последнее время я все забываю. Я помню то, что было раньше, в детстве, в юности, но, надо признаться, недавние вещи я почти не запоминаю. Если меня спрашивают, что я делала сегодня или вчера, я не могу вспомнить или начинаю путаться, если только не случилось что-то уж очень примечательное. Я попросила Томб закупить мне календарей и часов и разложила их по всем комнатам. Я борюсь, сражаюсь доступным мне оружием. С календарями, теми, где надо каждый день отрывать по листочку, своя проблема: я никогда не знаю, оторвала я уже вчерашний листок или нет, а потому каждый раз отрываю лишние. Таким образом мне

приходится ждать несколько дней, чтобы оторвать следующий листок, но пока я жду, я забываю, какое сегодня число».

Дети пришли все вместе, чтобы поздравить меня с днем рождения, кажется, это было не так давно, я-то уже и не помнила, что у меня день рождения. Когда же это было? Дня три назад, а может, уже и месяц прошел? Не знаю и уже никогда не узнаю. Спрашиваю у Томб: «Скажи, Томб, когда твои брат с сестрой приходили поздравить меня с днем рождения?» Но какая разница, что он ответит, я все равно это сразу забуду, и это ужасно, потому что это уже не просто плохая память: я как будто потеряла одно из чувств, я не могу больше оценивать время, оно утратило для меня запах, цвет, вкус. Впрочем, почему время нельзя считать одним из чувств? Я утратила чувство времени.

Мне по-прежнему хочется умереть. Часто у меня возникает желание открыть окно и выброситься, но тут невысоко, и у меня может ничего не получиться, только покалечусь.

Так, а это что за странная бутылка?

Мне кажется, что мое «я» действительно постепенно уходит от меня. События многолетней давности, как, например, поездка в Швейцарию, последнее наше с мужем путешествие, или рождение у Жюльетт сына, моего миленького внука — как же его зовут? Робер? да нет же, ох, как это меня нервирует! да, правильно, Люка, — все это я помню и каждый день тренируюсь, вспоминая снова и снова, но некоторые моменты уже как будто подернулись дымкой. Я их словно хуже вижу, не так ясно, как раньше. Я знаю, что это означает: скоро я забуду, как родился Люка, как я сидела рядом с Жюльетт в клинике, чтобы помочь ей, поддержать ее, потому что роды у нее были трудные, как и у меня, когда я в первый раз рожала, и ей было очень плохо. Всё это — жизнь. Я не буду больше помнить, как день или два помогала ей вставать, чтобы ей было не так больно. Всё это перестанет существовать.

А потом все вообще начнет гореть, словно бикфордов шнур, Альцгеймер все пожрет, спалит, пока не грохнет последний взрыв. Невыносимо. Я не хочу.

А бутылка-то вроде пустая.

Хочется умереть. Томб часто вызывает врача на дом или возит меня к нему на прием, если считает, что мне надо немного подышать свежим воздухом, я принимаю все больше и больше таблеток, становлюсь все более подавленной, как говорит наш домашний доктор. «Мрачные мысли — это нормально в вашем состоянии», — говорит он, как будто хочет сделать мне приятно. Неужели они не понимают? Никто не понимает? Я

скоро забуду, забуду всё и всех, и с этим ничего нельзя поделать, неужели этого не достаточно, чтобы впасть в самую глубокую из депрессий? Недостаточно, чтобы захотеть раскроить себе череп? Хватит с меня... Мне все это и впрямь осточертело. Осточертело, остохренело, к черту!

Ах, если бы только я была совсем одна и никто меня не любил...

Странная бутылка. И пустая.

## Шесть

### Уход

*Томб, через пять с половиной лет после дня А*

Я не стал рассказывать Жюльетт и Роберу о сомнительном эпизоде с криками «Мааааааааааааааа!», и мысль о передаче эстафеты кому-нибудь другому тогда быстро улетучилась: о том, чтобы поместить маму в богадельню, где она будет окружена людьми намного старше ее и с еще большими проблемами, не могло быть и речи. Так что жизнь пошла своим чередом. В сторону ухудшения. Около четырех месяцев назад случилось нечто из ряда вон выходящее: брат и сестра пришли как-то вечером в родной дом, и там их ждал сюрприз: мама забыла их, обоих. Одновременно — рраз, и всё! Они пришли, мы поцеловались и пошли к маме, которая на балконе кормила хлебом голубей и смотрела, как они дерутся из-за крошек. Последнее время это занятие очень хорошо сказывается на ее настроении. Увидев Жюльетт и Робера, она улыбнулась и сказала: «Здравствуйте, мадам, здравствуйте, мсье, посмотрите, какие у меня голуби, правда, красивые?»

Вот так. Они тоже перестали для нее существовать. Это их потрясло, Жюльетт вышла из комнаты, чтобы дать волю слезам, Робер сел в гостиной и долго молчал, подперев подбородок ладонью. Глаза у него тоже были влажными, но он все же не заплакал. Не от стыда, нет, мы давно уже не стеснялись друг друга: просто, думаю, ему надоело все это нытьё.

Когда вернулась Жюльетт, мы обнялись все троим, и они сказали мне: «Видишь, ты больше не одиночек, теперь мы все равны».

Я согласился, потому что понимал, как им сейчас тяжело. Но рана в глубине души у меня все равно осталась: ведь как бы то ни было, но я навсегда останусь первым, кого она забыла. И ничто этого не изменит. Хуже того — ничто и никто не объяснит мне, почему так произошло. Если хорошенько задуматься, виноват, конечно, я сам: в отличие от Жюльетт и Робера, в учебе я не блистал, относился ко всему довольно-таки наплевательски, чувств своих к ней особенно не показывал и не высказывал и, думаю, ни разу не поблагодарил ее за все, что она мне дала. Возможно, все эти мелкие разочарования копились в ней всю жизнь и в

конце концов привели к тому, что ее мозг забыл меня самым первым.

Чтобы отметить первый день нашего коллективного забвения, мы достали несколько бутылок из старых папиных запасов — мама никогда не пила, так что в доме было достаточно виски и мартини, чтобы как следует нажраться втроем, и мы полночи просмеялись над старыми, тысячу раз жеваными-пережеванными историями. А потом, когда журнальный столик скрылся под батареей пустых бутылок, Жюльетт и Роберу пришла пора идти по домам. Они вызвали такси, а я снова остался один, пьяный и одинокий, вместе с мамой, которая все еще не спала у себя в комнате: я слышал, как она время от времени открывала и закрывала дверь и говорила сама с собой.

Вот и всё: она позабыла своих детей — всех троих. Три «зеницы своих очей», как когда-то она нас называла. Болезнь в своем неуклонном движении вперед преодолела очередной, замечательный этап. Она должна гордиться этим своим достижением, интересно, каким будет следующее. Я уселся перед компьютером и принялся шарить по форумам в поисках постов пооригинальнее. Прочел рассказ женщины, отец которой, не узнававший ее более двух лет, вдруг как ни в чем не бывало окликнул ее по имени, обратился именно к ней точно так же, как раньше, и в течение нескольких десятков секунд говорил с ней о каком-то общем воспоминании, каком-то эпизоде, довольно забавном, только я уже не помню каком, потому что меня охватила безумная надежда: а вдруг и мама узнает меня, заговорит со мной, в последний раз. Если с другими такое случалось, значит, это возможно! «А что, если это произойдет сегодня, сейчас?» — нашептывало мне выпитое виски. После недолгих колебаний я пошел к ней в комнату и сел на стул рядом с маленьким ночником, который установил там, потому что с некоторых пор мама не хотела больше спать в темноте. Я убедился, что она не спит и совершенно спокойна. Тогда я немного приподнял ее, подложил ей под лопатки большую подушку и взял в ладони ее руки. И стал ждать, ничего не предпринимая, когда она повернет ко мне голову и посмотрит на меня. Я долго ждал, а потом она вдруг взглянула на меня, как будто только-только заметила мое присутствие. Я приблизил к ней лицо, чтобы лучше видеть ее глаза: я узнал глаза своей матери. И тогда — хвала мартини! — я заговорил с ней, сумел сказать ей то, что она, конечно же, всегда хотела слышать, то, что должно было вызвать ее ответную реакцию, возможно, в последний раз:

— Мама, дорогая моя мамочка, узнай меня в последний раз, умоляю тебя, спасибо тебе за все, что ты сделала для меня, за все, что ты мне

подарила: за твою любовь, твою доброту и за все остальное, что всегда было так важно для нас. Прости, мне следовало больше трудиться, быть с тобой ласковее, показывать тебе свою любовь, мне надо было говорить тебе, как я тебя люблю, вот, я и говорю это: я люблю тебя, мама, ты слышишь? Я сказал тебе это! А ты, ты можешь сказать мне то же самое? Ну же, мама, подари мне свою любовь, скажи, что я твой сын. Назови меня в последний раз по имени, скажи: «Томб», я ни о чем больше не прошу, скажи только, что ты меня любишь, мама, скажи, что ты — моя мама, что я — твой сыночек, любимый, как раньше, я ни о чем больше не попрошу тебя, клянусь, только узнай меня в последний раз, умоляю... Поговори со мной, скажи мне, что я есть, что я существую...

Она смотрела на меня внимательнее, чем обычно, и мне показалось, что она чуть сжала мне пальцы.

— Да-да, мамочка, скажи. Прошу тебя, скажи...

Она медленно приоткрыла рот, чуть сильнее сжала мне руку и тихо проговорила:

— Вроде бы голубок, только гипсовый.

### ***Мадлен, через два с половиной года после дня А***

Мне все больше и больше нравится смотреть телевизор. Раньше я смотрела его вечером, когда мне не хотелось спать: только фильмы или передачи о природе. Теперь мне нравится почти всё. Я смотрю его все время. Томб ворчит, говорит, что мне надо двигаться, чем-то заниматься, я и рада бы, только чем? Делать-то, кажется, нечего. Как-то на днях я сказала соседке, чтобы она не передвигала контейнер для мусора, и вот вам — так оно и случилось, она его передвинула сегодня утром, или вчера. Приехали!

У меня такое впечатление, что Робер и Жюльетт приходят все чаще, мне это приятно, но Томб не хочет, чтобы я возилась с готовкой. Первое время я с ним спорила, но он сказал «нет», так что теперь он сам с этим разбирается, и так действительно лучше для всех. Надо сказать, что я, похоже, немного потеряла сноровку, что касается кухни. Правда, я все делаю, как раньше: курицу, овощи, бульон, но часто это получается не так вкусно. Или, может быть, я еще и вкус теряю, надо будет спросить у доктора. Но эта история с мусорным контейнером мне просто не дает покоя. Томб сказал, что завтра поговорит с соседкой.

Когда ребята приходят все вместе, мы разговариваем обо всем, только



тему моей болезни они стараются теперь избегать. Они так мило со мной беседуют, окружают меня всяческой заботой, и мне становится тепло на сердце, оттого что у меня такие любящие, такие внимательные детки; как только подумаю, что наступит день, когда я забуду и это внимание, и эту любовь, мне становится так больно.

Но о самоубийстве я больше не думаю, со всем этим покончено, я теперь грущу по-другому, не могу сказать почему. По телевизору показывали женщину, у нее была какая-то страшная болезнь, не помню уже какая, но правда — жуткая, гораздо хуже, чем у меня. Так вот, она не хотела умирать, наоборот, она говорила: «Я хочу бороться до конца, ради моих близких». Ах, какое мужество, а я, я хочу не бороться, а просто быть в порядке, ну да ладно... Я подумала тогда, что она — молодец. Не то что та, с мусорным контейнером.

### ***Томб, через пять с половиной лет после дня А***

Несколько недель назад к нам «случайно заскочила» (по ее собственному выражению) Жюльетт. Это была середина недели, кроме того — середина дня, то есть время, в которое она, слишком занятая на своей работе, обычно никогда не приезжала, из чего я сделал вывод, что визит ее, напротив, совершенно не случаен, а очень даже запланирован. Ей пришлось найти для него время, перенести какие-то встречи или совещание, короче, организовать день так, чтобы иметь возможность вот так «случайно заскочить» к маме. Все это было подозрительно, но я сделал вид, что верю ее словам:

— Как здорово, что ты навестила нас, сестренка!

— Я была тут неподалеку и подумала, что могла бы заодно заехать. Как ты? В порядке?

— Да, спасибо.

— Чем ты занимался?

— Да так, сидел за компом.

— Писал?

— Да.

— Супер! Как интересно! Я должна взглянуть!

Она села за компьютер и пошевелила мышкой, чтобы монитор снова включился:

— Надо же, как интересно! Ну, и как ты назовешь свой новый роман? «Расходы и налоги на будущий год»? Потрясающе, тут и про новый компьютер есть, и про билеты на поезд... Надо же, как закручено!

— Ох, пожалуйста, перестань...

— Ты больше не пишешь, Томб.

— Пишу, только...

— Тогда покажи!

— Да нет, тут у меня ничего нет, просто я...

— Просто ты не написал ни строчки за последние не знаю сколько лет: два, три года?

— Чуть больше... Но у меня были две рукописи в запасе, так что все в порядке...

— Они были не в запасе, ты отложил их, потому что они тебе не нравились! Ну, признайся!

— Ну, если тебе так хочется.

— Конечно, мне хочется! Ну и?..

— Ну да, я больше не пишу. У меня не получается.

— Потому что ты не можешь писать в таких условиях. Томб, ты уже достаточно сделал. Маму надо поместить куда-нибудь.

Поместить маму. Я сразу возненавидел это слово. Все лицемерие, всю ложь, весь позор, которые кроются за ним. Это слово — как ширма, за которой можно спрятаться. Матерей не «помещают», их бросают. Об этом не могло быть и речи. Я давно уже перестал на нее раздражаться, да и она все больше нуждалась во мне, во всех отношениях.

— Ну и что мы с ней сделаем? Отвезем в приют для бездомных собак? Ты этого хочешь?

— Нет, все же ты страшный идиот! Так и хочется вклеить тебе по роже, но я знаю, как это больно, и только потому сдерживаюсь. Ты не имеешь права так говорить со мной!

В эту минуту в комнату вошла мама, привлеченная, без сомнения, нараставшими децибелами. Правда, она едва взглянула в нашу сторону и уселась перед выключенным телевизором. Ее призрачное присутствие в комнате нас все же успокоило и заставило несколько сбавить тон.

— Как ты мог сказать мне такое, Томб...

— Но, послушай, мы же не можем ее бросить! Ей будет так одиноко, и потом...

— Постой, что это за вонь?

— Что?

— Вонь! Откуда-то несет дерьмом, жуть какая! Неужели ты не

чувствуешь?

— Ах это... Да. Это мама. Но не беспокойся, она в подгузнике.

Жюльетт взглянула на меня с выражением какого-то оторопелого ужаса — я раньше никогда ее такой не видел:

— Мама ходит в подгузниках?

— Да, но это недавно началось, у нее тут случилась пара конфузов, вот я и...

— Ты меняешь маме подгузники... Ты, Томб, меняешь маме подгузники и, конечно же, ничего не говоришь нам с Робером!

— А что тут говорить? Все нормально, ей теперь нужны подгузники, вот я ей их и надеваю!

— А когда она надевает в подгузник, как сейчас, что ты делаешь?

— Что за дурацкий вопрос? Что я, по-твоему, могу делать?

— Нет, скажи.

— Не буду.

— Скажи, Томб!

— Нет!

— Ты ее подтираешь! Черт тебя дери, Томб, ты убираешь мамино дерьмо и меняешь ей подгузники!

— Да, подтираю! Да, я мою нашей маме попу! Ну и что? А сколько она мыла нам попы? А?

Глаза Жюльетт заволкло слезами, она сжала кулаки:

— Томб, я люблю тебя. Я люблю тебя, а еще я тобой восхищаюсь. То, что ты делаешь, прекрасно. Но тебе надо жить, жить своей жизнью. Ты понимаешь, что у тебя нет больше своей жизни? Нет ни друзей, ни любви — ничего! Выслушай меня хорошенько, братик, я говорю это ради твоего блага и ради маминого блага тоже: хочешь ты этого или нет, но завтра она отсюда уедет.

### ***Мадлен, через два с половиной года после дня А***

Я такая усталая. Всё время или почти всё. Я устаю, но у меня не получается спать, во всяком случае получается все хуже и хуже. Особенно ночью. Это какой-то ужас: я закрываю глаза, и в мозгу у меня начинает все вертеться, куча каких-то вещей, воспоминания, мысли, все путается, голова начинает кружиться, и тогда я перестаю спать, я стараюсь не закрывать глаза, ни о чем не думать. Но когда ты пытаешься не думать ни о чем, в

голову как раз и лезут разные мысли. Иногда я встаю с постели, чтобы немного походить по квартире, но тут я начинаю нервничать, потому что Макс повсюду разбрасывает вещи, а убирать кому? Мне, конечно. Если так будет продолжаться, то я ночи напролет буду прибираться за Максом. Я ему не служанка, не для того я выходила за него замуж.

Иногда по телевизору, в передаче о здоровье, говорят про болезнь Альцгеймера. Как-то в одном репортаже показывали кучу старичков в какой-то больнице или клинике, все они были маразматиками, как я, но совсем дряхлые, они сидели в каком-то зале с дрянными столиками и аквариумами и играли с медсестрами в дурацкие игры — в такие играют с маленькими детьми: раскладывали деревянные треугольнички в треугольные же ячейки, и у одного старикашки это никак не получалось. Мне захотелось разбить телевизор, не может быть, чтобы я превратилась в такое, не может быть! А еще там была старушка, которая часами смотрела на рыбок в аквариуме, сидела с приоткрытым ртом (верхних зубов у нее не было, это было видно по запавшей внутрь верхней губе), сидела с приоткрытым ртом, как неживая, и смотрела часами, как кружатся эти безмозглые рыбки, хотя они, наверно, все же умнее, чем она. Я швырнула пульт прямо в экран, прибежал Робер, стал ругаться, а я сказала, что буду делать что захочу, что это мой телевизор, и я — его мать. Он тогда чмокнул меня в лоб, и я успокоилась. Какой он все же милый, мой Робер, все время со мной сидит. Так похудел.

Я так устаю, у меня не получается спать, особенно ночью, я ненавижу ночь все больше и больше, я думаю о тысяче вещей, которые не дают мне уснуть, и тогда я пытаюсь ни о чем не думать. Я вспоминаю, как была маленькой и боялась темноты. Я хотела оставить на ночь свет в коридоре, но это мешало уснуть моей сестре, она как раз любила, чтобы было темно, а комната у нас была одна на двоих, вот мы все время и ссорились. Мама уже не знала, что с нами делать, но я была старшая, и мама решила, что я буду ждать в темноте, пока сестра не заснет, а потом мне включают в коридоре свет и оставят дверь приоткрытой.

### ***Томб, через пять с половиной лет после дня А***

Жюльетт сказала: «Завтра она уедет», но на самом деле для этого понадобилось два месяца. Несмотря на решимость сестры и ее недюжинное упрямство, есть на свете горы, которые не так-то просто

сдвинуть.

Я не сопротивлялся, потому что знал, что она права. Я так долго не выдержал бы, рано или поздно сломался. Мы нашли вроде бы хорошее заведение, пансионат для престарелых с медицинским уклоном, где ей будет обеспечен надлежащий уход. Мы договорились между собой так, чтобы каждый день маму навещали двое. Жюльетт с Робером будут приходить по очереди к одиннадцати утра, чтобы быть с ней во время обеда, а я буду навещать ее днем. Я очень удивился, а еще больше обрадовался, что им удастся высвободить столько времени, это при их-то сумасшедшей занятости. Они сказали, что делают это и ради меня тоже, чтобы я мог вернуться к нормальной жизни, и я торжественно пообещал им — это, конечно, была идея Жюльетт — проводить с мамой не больше трех часов в день. Двадцать один час нормальной жизни ежедневно — это пойдет мне на пользу. И я буду этого придерживаться, я уверен.

Завтра — знаменательный день. Вернее, уже сегодня, учитывая, который сейчас час. Я знаю, что не усну, пока они не придут и мы не отвезем все вместе маму в это место, откуда, если, конечно, не случится чудо, она никогда уже больше не выйдет. Я должен с этим свыкнуться: это последняя мамина ночь дома. В ее доме.

Она тоже не спит, я слышу. Она там, у себя в комнате, бормочет что-то, издает свои странные звуки. Часть ночи она бродила по коридору, раз или два набрасывалась на меня с оскорблениями, но ничего не разбила. Потом, проходя мимо двери гостиной, она спросила меня: «Где мой папа?» Я ответил, что не знаю, и она как ни в чем не бывало продолжила свой путь. Через тридцать-сорок секунд (ровно столько времени нужно, чтобы пройти нога за ногу до конца коридора и обратно) она вернулась и спросила: «Где мой папа?» Я снова ответил, что не знаю, после чего сцена повторилась в точности, по крайней мере, еще раз пятьдесят. Пятьдесят раз она задавала мне одним и тем же тоном один и тот же вопрос: «Где мой папа?», и я пятьдесят раз отвечал ей, что не знаю. Наконец она снова вернулась к себе в комнату.

Звук поворачиваемого в дверном замке ключа заглушает мамино бормотание. Это Робер и Жюльетт, хотя они должны были явиться только к восьми. Сейчас же едва половина седьмого и, судя по их физиономиям, они тоже не спали этой ночью. Что ж, и правда лучше провести эти полтора часа вместе, чем по одиночке. В полном молчании мы завтракаем горячими круассанами, купленными по дороге Робером. Меня удивляет аппетит, с которым мы их уплетаем — семейный завтрак действует на нас благотворно. Это как в детстве, когда вкус варенья заставляет забыть о

трудностях грядущего дня.

Покончив с завтраком, мы переглядываемся: пора. Жюльетт надевает вязаную кофту, я облачаюсь в куртку: в тяжелые моменты жизни мне всегда не хватает тепла. Я велю им отнести в машину сумки, а сам иду за мамой.

Тихонько открываю дверь и вижу: мама сидит по-турецки на полу рядом с кроватью, руки у нее сложены полукольцом, одна плотно прижата к другой, и она ими плавно покачивает. Через несколько мгновений я понимаю, что она баюкает некое воображаемое существо. Я делаю шаг вперед, она замечает меня, и взгляд ее загорается радостью:

— Папа, ты пришел!

— Я... Да, я пришел...

— Говори потише, он спит.

— Кто спит?

— Ну, Элвис же!

— А кто это — Элвис? Твой ребеночек?

— Да, нет же, папа! Ничего себе, скажешь тоже, я же еще маленькая, у меня не может быть ребеночка! Элвис — это мой гольш, куколка!

Несколько секунд я молча смотрю на нее. Она выглядит совершенно счастливой и тихо-тихо напевает колыбельную: «Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай...» Она — маленькая девочка, которая играет в куклы у себя в комнате под присмотром своего отца. Я вижу улыбку на ее светящемся от радости лице. Допев колыбельную, она шепчет своему гольшу что-то на ухо. Я злюсь на себя за то, что мне придется прервать эти счастливые мгновения.

— Ну, давай, едем.

— Куда это? В школу?

— Да, именно. Мы едем в новую школу.

— А можно мне взять с собой Элвиса?

— Конечно можно.

Я беру маму за руку, тихонько тяну ее, чтобы она шла за мной, во второй руке она держит своего воображаемого гольша.

— Ты слышал, Элвис? Ты пойдешь со мной в школу! В новую школу!

Новая школа... В общем, да, что-то в этом роде.

Там будут еще дети, такие же, как она. Только вот родители за ними никогда не придут.

Робер и Жюльетт ждут меня у дверей с последними сумками в руках. Я приподнимаю маму, чтобы преодолеть вместе с ней несколько ступенек. Мы садимся с ней на заднее сиденье. Не прошло и минуты, как она позабыла о своем гольше, взгляд ее снова стал пустым. Она вернулась в

свою капсулу.

Я поднимаю воротник, мне снова холодно, еще холоднее, чем было только что. Маме будет так одиноко среди этих людей, которых она не знает. Я уверен, что среди тех, кого она забыла, она чувствовала бы себя лучше.

## **Часть вторая**



## Один Крушение

*Мадлен, через три года после дня А*

Это не телевизор, а черт знает что! Честное слово! Кто это там говорит? Обычно со мной отсюда разговаривает эта девушка, светловолосая, а это кто такой? Что это за мужчина? Я его никогда не видела, что он делает в моем телевизоре? Ничего себе! Это что-то новенькое! Забрался в мой телевизор и говорит со мной отсюда, хотя я его об этом не просила. Я хочу, чтобы все было как всегда, хочу разговаривать с той девушкой, моей любимой. Или что, может быть, я нажала не на ту кнопку. Как там, один, нет, два, нет, три, да где же эта светленькая, где моя любимица? Господи, ну никак не найти, да еще эта возня у двери... Что такое? Что там за шум? Как все это действует на нервы...

— Здравствуй, мама.

— Вы кто?

— Мама, это же я! Томб!

— Томб... Конечно... Томб... Э-э-э... вы... э-э-э... Нет, я вас не знаю.

Вроде бы этого молодого человека здесь никогда не было... Или? Нет, не думаю.

— Ладно, посмотри немного телевизор, потом тебе будет лучше, и ты узнаешь меня — конечно же, узнаешь.

— Который час?

— Девять утра, мама. Я на ночь уезжал к себе. Ты спала?

— Не знаю.

Девять. Ну да, в девять обычно по телевизору показывают эту девушку, светленькую, я ее просто обожаю, где же она? Ах, как мне это действует на нервы, она всегда здесь, аккуратно причесанная, хорошенькая, и голос ее мне ужасно нравится, такой нежный, певучий, как у моей сестры, погодите, а где же сестра? И где эта светловолосая девушка, которую я обожаю?

— Ну, ты же помнишь: вчера вечером я был тут, с тобой, а сегодня утром приехал опять, как всегда! Погоди, я зашел в аптеку за твоими лекарствами.

— Ой, вы будете делать мне укол?

— Укол? Какой укол?

— Откуда я знаю! Дайте мне, пожалуйста, посмотреть телевизор.

Этот юноша меня раздражает! Такой молодой, а уже врач, как-то это настораживает. И потом где моя светленькая девушка, моя любимица, на какой же кнопке? Четыре? Пять? Нет, шесть?..

— Ну, мама, я же не доктор! Посмотри на меня. Дай сюда пульт, я убавлю звук. Посмотри на меня. Ты узнаешь меня, а, мам? Я не делаю уколов, я твой сын. Томб, ты же знаешь, — твой любимчик! Ладно, шучу, ты нас всех троих любишь одинаково, да? Твоих ребятишек! Скажи, ты их одинаково любишь, твоих ребят? Расскажи-ка мне о детях, всё и вспомнится.

Ах, вот как, он хочет поговорить со мной о моих детях, как это мило с его стороны. Милый молодой человек. Ладно, я потом найду эту светленькую, мою любимицу, я ее просто обожаю, только расскажу сначала этому юноше, медбрата, раз он не доктор, о моих дорогих ребятках. Я так люблю говорить о моих любимых детках, они — моя гордость. Робер и Жюльетт, зеницы моих очей.

### ***Томб, через шесть лет после дня А***

Дом престарелых. Сначала это был какой-то ужас. Я ничего там не видел, кроме мамино будущего в разных вариантах — в лице других пациентов. Большая часть из них страдала слабоумием, чаще всего на почве болезни Альцгеймера. По мере моих перемещений по саду, коридорам и общим залам я видел не людей, а одни только стадии мамино заболевания. Такой она будет через несколько месяцев — как вон та женщина с остановившимся мрачным взглядом, которая ни с кем не разговаривает, — застывшее воплощение гнева и страха; а вот такой она станет через год или два — как этот старик, худой-прехудой, еще худее, чем она, который стоит где его поставили, раскрыв рот и пуская слюну, и время от времени издает какой-то невнятный звук, может, просто грезит наяву. Заглядывая в палаты, я вижу мам перед самым концом, прикованных к постели, опустошенных, как будто уже мертвых. В палате рядом с ними никого нет, никто не составит этим мамам компанию.

Но проходят недели, и ты больше не обращаешь внимания на остальных пациентов, они становятся для тебя чем-то вроде обстановки,

декора, комнатных растений. Овощи, притворяющиеся комнатными растениями, — когда-то мама посмеялась бы над такой шуткой. Но с этим покончено, мама больше не смеется, она дерется. Пользуясь тем, что входит пока в число самых подвижных и активных, она временами позволяет себе стукнуть тот или иной элемент декора: мне то и дело рассказывают, как она поколотила какого-то дедушку в кресле-каталке только за то, что тот с ней заговорил, или надавала оплеух женщине, которая разговаривала в коридоре сама с собой.

Вам сообщают об этом, когда вы приходите или когда встречаетесь с кем-нибудь из персонала в коридоре, но говорится это обычно тоном, каким зачитывают меню в производственной столовой: механически, без всякого выражения, потому что все это — дело житейское, потому что такое здесь происходит сплошь и рядом. Сначала я смущался, извинялся за мамину агрессивность. Но скоро понял, что извиняться не за что. Что хорошо в местном персонале, так это то, что вас никто ни в чем не обвиняет: они видели много чего и пострашнее, у них в арсенале множество историй, когда их подопечные вели себя в тысячу раз хуже, были в тысячу раз безумнее, злее, так что не стоит извиняться — это все рутина.

Для меня же теперь рутина приходит в три часа дня и уходит в шесть вечера. Я стараюсь выполнять данное брату и сестре обязательство и не оставаться там ни на минуту дольше; но и не меньше. Я выхожу из дома за двадцать четыре минуты до назначенного времени, на парковке всегда полно места. Обратный путь занимает у меня минут на десять больше, потому что к этому часу движение становится интенсивнее. Примерно без двадцати семь я возвращаюсь домой. Домой — это в мамин дом: свою квартиру я сдал, в любом случае, она стояла почти пустая, я и так слишком долго платил за жилье, практически им не пользуясь. Жюльетт и Робер уговорили меня остаться жить у мамы, мне и самому этого хотелось, да я, в сущности, уже давно там поселился, они же не видели в этом никакой проблемы: если мне это подходит, то и им тоже. С тех пор как мы отвезли маму туда, мне кажется, что это я больной: брат и сестра носятся со мной как с писаной торбой, никогда слова поперек не скажут, и, что хуже всего, они думают, будто я этого не замечаю. Иногда меня это все достает, но я знаю, что это делается из лучших побуждений, они, должно быть, перезваниваются, чтобы поговорить обо мне, я так и слышу, как Жюльетт говорит: «Если ему хочется жить дома, пусть живет, главное, чтобы он снова начал писать, и еще ему надо бывать на людях», а Робер ей на это отвечает: «Да, ты права, Жюльетт». Конечно, она права, она почти всегда права, эта Жюльетт, и это слегка действует мне на нервы, ну да ладно, я же

не псих какой-нибудь, мне просто нужно время, чтобы прийти в норму.

Скоро я снова начну писать, я это чувствую. Что-то поднимается во мне, потому что писательство — это подъем. Раньше я думал, что это нисхождение, мне казалось, что всё приходит сверху, из некоего источника вдохновения, изливающегося бурными потоками прямо мне в голову, надо лишь не мешать ему изливаться. Позже я понял, что это не так: писательство — это бурлящий внутри вулкан, которому надо дать выход. Писатель должен уметь направлять извергающуюся из него лаву, чтобы она поднималась из живота в сердце, затем выше — в руку и, наконец, брызнула наружу из кончиков пальцев. Лава не должна проходить через голову, иначе мозг остудит ее, и она застынет. Писатель — проводник своего внутреннего огня.

У меня лава застряла где-то в сердце. Это лучше, чем прежде, когда я не чувствовал ее даже у себя в животе, но ей еще предстоит проделать долгий путь, прежде чем она не вырвется наружу. Пока я не чувствую, чтобы меня жгло уж очень сильно.

### ***Мадлен, через три года после дня А***

Молодой человек и правда очень мил. Он все время возится со мной. Я не совсем поняла, он — настоящий медбрат или что-то другое, иногда он не отвечает на мои вопросы, а может, я просто не понимаю его ответов, но это все ерунда, главное — мне хорошо, когда он рядом. Мне только действует на нервы, когда он начинает делать уборку после того, как я только что сделала ее сама. Я говорю ему, что все уже сделала, а он мне: «Лишний раз не помешает». То же самое он говорит и про еду, и про душ, я говорю ему, что принимала его всего несколько минут назад, я же прекрасно помню, я ведь не сумасшедшая, а молодой человек опять свое: «Лишний раз не помешает». Ну что же, тогда я делаю, что он говорит, чтобы доставить ему удовольствие или чтобы он перестал просить, чтобы я это сделала.

Меня навещают Жюльетт и Робер, они тоже очень милые и добрые. В последний раз я выразила им свое неудовольствие по поводу того, что моя сестра так редко приходит меня проведать, особенно теперь, когда я овдовела, но я заметила, что им это тоже неприятно; конечно, это же их тетушка, они ее обожают, она всегда делает им подарки и покупает мороженое. Ее все любят, мою сестру, только Томб, мой муж, умудрился

поругаться с ней в самом начале нашей совместной жизни. Но я не хочу говорить о муже плохо, он ведь умер, бедняжка.

### *Томб, через шесть лет после дня А*

Все чаще и чаще, когда я прихожу к маме, она со мной не разговаривает. Ни слова. Когда я ее целую, она или вообще не реагирует, или вяло отстраняет меня, после чего в течение трех часов — полное радиомолчание. Где бы мы с ней ни находились в это время — у нее в палате или среди других пациентов, — она со мной не разговаривает. Как будто не видит. В редких случаях она может сказать мне пару слов, вернее, она может сказать пару слов при мне, но я вижу, что она не понимает, кто я такой. Я уже давно для нее не сын, но теперь я уже и не медбрат, не милый молодой человек. Есть — я забыт дважды. И теперь, как и остальные, я для нее — лишь предмет обстановки. Но я все равно разговариваю с ней, насколько это возможно, даже если иногда мне нечего ей рассказывать.

Все чаще и чаще ко мне подходит сиделка. Первое время мы с ней здоровались, встречаясь в общем зале, и она рассказывала, что делала за это время мама. Вначале я не замечал, что она хорошенькая, поскольку разговаривал не с женщиной, а с человеком, который ухаживает за моей матерью. Постепенно с отчетов и разговоров о маме мы перешли к разговорам друг о друге, к обмену банальностями — о моей работе, о ее занятиях в свободное время, — потом перешли на «ты», она стала регулярно наведываться в мамину палату, и мы познакомились ближе. Каждый раз для ухода за мамой — переменить простыни, дать ей лекарства — ей требовалось чуть больше времени, а мне каждый раз было чуть приятнее ее видеть. Ее вопросы обо мне становились все конкретнее («Я такая любопытная, вы не сердитесь на меня?»), и я тоже стал расспрашивать ее о ее жизни.

Не так давно она спросила, есть ли у меня подруга, я ответил, что нет. «Тогда, может быть, друг?» — снова спросила она, чем крайне меня озадачила. Впервые в жизни мне задали такой вопрос; похоже, сентиментальный вакуум, образовавшийся вокруг меня после ухода Эммы, был мне не на пользу. Заметив мое крайнее удивление, она поспешила объяснить: по ее наблюдениям, гомосексуалисты проявляют больше заботы о своих матерях, чем другие: «Внимание! Я не говорю, что это абсолютная истина, я говорю только, что так часто бывает». Я сказал, что я

как раз другой, хотя и проявляю заботу о матери, на что она ответила с улыбкой: «Другой и к тому же без подружки!» Потом она вышла, подмигнув мне на прощание. Но подмигнула не сексуально, а как-то ласково, очень мило.

Ее зовут Клара.

### ***Мадлен, через три года после дня А***

На самом деле я думаю, что этот молодой человек не совсем медбрат. Он просто живет у людей, чтобы помогать им, то есть мне так кажется, я его не спрашивала об этом, но я прекрасно знаю, что настоящий медбрат не сидит так долго со своими пациентами, так что он скорее что-то вроде сиделки. Но я называю его медбратом, ему так нравится. Я говорю, что ему надо бы стать врачом, так он будет больше зарабатывать. Вот у моей дочки свое агентство недвижимости, а сын работает... этим... как его... слово все время забываю, кем-то судебным, так вот эти профессии дают хороший заработок, но медбрат отвечает, что нет, что он любит свою работу, что ему нравится заботиться обо мне. Единственное, что я просто ненавижу, это когда он отвозит меня в больницу на эти... как их... как же они их называют, вот дураки-то...

Ах да, тренинги памяти. Глупости всякие чтобы я вспоминала. Вопросы, вопросы, всякие разные, там часто бывает одна такая девушка, черненькая, одна и та же, вроде бы милая, только вот она каждый раз спрашивает, когда я родилась, а потом имена моего мужа, детей — все время одно и то же. Чушь, в общем. Как ни крути, чушь она и есть чушь. А вот другую девицу я просто терпеть не могу. Та заставляет меня играть в разные игры с числами, какими-то списками слов и с предметами, но в эти игры нельзя выиграть, ни за что. Когда милый молодой человек приходит за мной, я всегда так радуюсь, потому что это значит, что занятия окончены, до свидания, больница, я еду домой.

Сначала я думала, что это он ворует мои чековые книжки. Сначала две куда-то подевались одна за другой, мне это показалось подозрительным. В самый первый раз книжка лежала на своем месте, у меня в сумочке, в большом кожаном бумажнике, и вдруг она исчезла как по волшебству. Мне пришлось идти в банк, молодой человек меня проводил, потому что он не хочет, чтобы я ездила одна на машине, иногда он меня страшно раздражает, я попросила их оформить мне новую книжку. Они оформили, я положила

ее туда же в сумочку, я специально запомнила, но не прошло и двух дней, как она снова исчезла! Тогда я стала следить за молодым человеком, как какой-нибудь частный детектив, и каждый раз после его ухода проверяла сумку — на месте ли моя чековая книжка. И ничего, молодой человек оказался ни при чем. Но кто же тогда меня обворовывал? Потому что утром, проснувшись, я уже не могла найти чековую книжку — она снова исчезла, и мне снова пришлось идти в банк просить другую! Потом я придумала хороший тайник, чтобы прятать там книжку, но опять все то же самое: пропала, украли! Через какое-то время медбрат не захотел больше провожать меня в банк, тогда я позвонила, но там отказались выписывать мне новую книжку, они сказали: «Вы плохо ищете, мадам, не может быть, чтобы у вас украли все эти книжки, к тому же вашими чеками никто не воспользовался, мы следим за этим, мадам, вы, должно быть, сами засунули ее куда-то, ищите лучше!» На это я им сказала, чтобы они засунули свои книжки себе в жопу, совсем охренели, жулье проклятое, я, слава богу, еще умею искать чековые книжки и прекрасно знаю, что, пока я сплю, кто-то приходит и ворует их у меня. После этого каждый раз, как я звонила в банк, там вешали трубку, не понимаю, что-то, наверно, случилось с телефоном, он работает не как раньше, им совсем стало невозможно пользоваться, это, конечно, козни тех людей, которые забираются ко мне по ночам, пока я сплю, и вот, пожалуйста, теперь я и позвонить никуда не могу. Да уж, они свое дело знают.

### ***Томб, через шесть лет после дня А***

Кларино подмигивание обернулось для меня через несколько часов настоящим шоком. Это была как отдача после выстрела. Я вернулся к себе, как обычно, принял, как обычно, душ — после дома престарелых я всегда принимаю душ, — и вдруг мне вспомнилось, как она мне подмигнула. Этот ее жест не давал мне покоя, словно от одного воспоминания о ее ресницах мне становилось щекотно. Я включил телевизор, но ничего не видел в нем, кроме лица Клары, она улыбалась и подмигивала мне с экрана. Тогда я лег на диван, вырубил звук и стал думать о ней.

И вот уже несколько дней я только и делаю, что думаю о Кларе. Каждый день я с трудом дожидаясь положенного времени, чтобы пойти туда в надежде, что Клара сегодня дежурит. Я стал внимательнее относиться к своей одежде. Вчера я даже купил себе новый одеколон.

Продавщица дала мне попробовать несколько ароматов, два из которых мы опробовали на тыльной стороне запястья, а третий я распылил себе на шею. Чтобы понюхать мою кожу, она приблизилась ко мне вплотную, я почувствовал ее дыхание, и по телу у меня пробежала дрожь. Давненько я не ощущал такой дрожи. И тут же мне пришла мысль о Кларе: я подумал, что было бы со мной, ощути я у себя на шее ее дыхание, а потом представил себе, как ощущаю ее дыхание у себя на теле.

До сегодняшнего дня я не решался, но сегодня точно куда-нибудь ее приглашу. Еще не знаю куда: выпить по стаканчику, в кино, в ресторан... Неважно — приглашу, и всё тут. Мне никак ее не дождаться. В это время она обычно где-то неподалеку, я вижу, как она вертится, ухаживая за больными... Я заметил, что в последнее время она много занимается мамой. Клара говорит, что мама ей очень нравится. Я спросил ее почему, ведь мама не общительнее других, и Клара ответила, что мама общается, но по-своему. Она считает, что, несмотря на болезнь Альцгеймера, пациенты подолгу сохраняют что-то свое, глубоко-глубоко внутри, некую связь с внешним миром. Все это замечательно, но я-то вижу, что давно уже потерял для мамы всякое значение; я для нее как бы не существую. И хуже всего, что я с этим свыкся: я смирился с тем, что ее со мной больше ничего не связывает. Клара же говорит, что главное — не связь с каким-то конкретным человеком, а связь вообще, неважно, на что она нацелена, на чем основана, единственная она или постоянно меняется: пока остается эта связь, остается и жизнь, вернее, что-то человеческое, потому что, когда человеческое исчезнет, исчезнет и жизнь... Тут уже чем скорее она уйдет, тем лучше для всех. Я знал, что Клара говорит о нашем с мамой недалеком будущем, что, когда она станет настоящим овощем, у нас останется единственное желание — чтобы это не затягивалось слишком надолго. Об этом ужасно даже подумать: при нормальном развитии вещей я скоро буду ждать, чтобы мама поскорее умерла.

Клара рассказала мне о маминой связи с миром: она проявляется во время мытья. Она часто злится, пытается драться, но через какое-то время, если с ней обращаться ласково, она успокаивается, закрывает глаза, ее дыхание замедляется. Потом она кладет ладонь на руку, держащую губку, и тихонько следует за круговыми движениями, которыми ее моют. Это как ласка, для которой она не стала бы прилагать усилия; но желание-то приласкать имеется.

Мне нравится это ее поведение, нравится ее желание приласкать: пока они есть, мама жива.



## *Мадлен, через три года после дня А*

Как мало нужно человеку для счастья, совсем мало — только самое необходимое! Немного прохладной воды и зелени, то, что дает нам зе...  
Черт.

Как мало нужно человеку для счастья, совсем мало — только самое необходимое! Немного прохладной воды и зелени, то, что дарит нам необ...  
Нет, это начинает действовать мне на нервы!

Как мало нужно человеку для счастья, совсем мало — только самое необходимое! Немного прохладной воды и прир... Нет!

Как мало нужно человеку для счастья, совсем мало — только самое необходимое! Немного прохладной воды и зелени, то, что берет...  
Нееееет!

Как мало нужно человеку для счастья, совсем мало — только самое необходимое! Немного прохладной воды и зелени, то, что берет нам природа, несколько солнечных ключей... Уффф...

Как мало нужно человеку для счастья, совсем мало — только самое необходимое! Немного прохладной воды и зелени, то, что дарит нам природа, несколько небесных мячей в солнце! Ага! Вот! Все-таки у меня получилось!

## **Два Ложь**

### *Томб, через шесть лет после дня А*

— Ей тут хорошо, как ты думаешь?

— Не знаю.

— Ну, конечно же, ей хорошо! Ау, мама, тебе тут хорошо?

— Жюльетт, перестань, она никогда тебе не ответит.

— Я говорю, что хочу! Нет, ну правда ведь, по-моему, она прекрасно выглядит, ты видел, она почти не похудела, и персонал с ней все время занимается, они с ней играют...

Иногда в воскресенье мы навещаем маму втроем. Мы встречаемся у нее в палате, стоим вокруг нее, время идет медленно, и нам становится грустно.

— Мне тоже кажется, что она в порядке. Последнее время она и драться стала меньше, ведь правда?

— Правда, только тебя, Робер, она никогда особенно не била, не знаю уж почему. А вот Жюльетт не раз доставалось...

— Да уж, она мне здорово влепила. А, мам, ты здорово мне влепила?

— Жюльетт, перестань ты это делать! Но прошу отметить, что рекордсмен по маминым оплеухам — это я! Чемпион во всех категориях!

— Да, тут ты прав, с этим не поспоришь... Хотя меня она обзывает больше, чем вас обоих.

— Ну уж...

— Да-да! Только и делает, что склоняет мои яйца, вы заметили? То они у меня всмятку, то их вообще нету...

— Это все от того, что она их любит, твои яйца! А, мам, правда, ты ведь любишь яй...

— Жюльетт!

Нам грустно, поэтому мы и треплемся.

### *Мадлен, через три года после дня А*

И тем не менее все не так уж плохо. Даже хорошо, надо сказать. Говорю вам, доктор, это чистая правда. Да, я все помню, в общих чертах. Ну, бывает, что забываю какие-то незначительные мелочи, а в остальном — все в порядке. Я бы не стала вам врать, доктор. Зачем нам врать друг другу? Мы же всё знаем, всё понимаем, тамплиеры там, 11 сентября. Лекарства. Что — лекарства?. Ах да, да, конечно. Отлично. К тому же ваш милый медбрат следит, чтобы я их принимала. Ну, тот, что сидит в приемной! Нет, я, конечно, знаю, что он не медбрат, он — что-то вроде домашней сиделки, но я называю его так, чтобы ему было приятно. Нет, он мне не сын, мой сын на работе, у него нет времени возиться со мной, у бедняжки, и потом, это не его дело! Да нет же, говорю вам, Робера в приемной нет. Томб? Медбрат Томб? Ну, я не знаю. Я зову его просто «милый мальчик». Но тут надо признаться, доктор, что иногда — бывает такое — я не сразу могу вспомнить, кто он, этот милый мальчик, медбрат то есть. Да, забываю. Признаюсь. Я не собираюсь вам лгать, доктор, честно, мы же с вами отлично понимаем друг друга. Но это длится совсем недолго! Да нет же, что вы, он здороваётся со мной, я спрашиваю его, и он говорит, что приходит каждый день, тогда я вспоминаю, что это он. Да, один и тот же. Конечно, уверена. Совершенно уверена? Ну, не знаю, может быть, раз или два его кто-то замещал, да. Возможно. Но голова у меня варит, тамплиеры, 11 сентября и все такое, вы же не хуже меня это знаете, правда? Да-да, я вижу, что вы хотите сказать, об этом вслух не говорят, молчок! Что, простите? Да, я езжу в клинику по-прежнему. Да, все прекрасно, просто замечательно, особенно игры, да. Чудесно, прогресс налицо, и весело при этом, все хорошо. Именно, именно. Ну, ладно, доктор, не буду вас задерживать слишком долго, у вас в приемной столько народу ждет! Какой успех, скажите, пожалуйста, прямо как у моей дочери, ну, все эти дома и все такое, поздравляю, доктор, вы, наверно, неплохо зарабатываете. Да-да, до свидания, доктор. Вы хотите поговорить с молодым человеком? Разве он тоже болен? Ах, вы все же хотите его видеть? Хорошо, прекрасно. Да-да, я подожду там, чудесно. Нет-нет, обещаю, что не двинусь с места. Нет, клянусь.

### ***Томб, через шесть лет после дня А***

Я прошел через все общие залы, но мамы там не было. Наверно, она у себя в палате. Взяв палку, пошел пешком на четвертый этаж (никаких лифтов, за

последнее время я набрал лишнего веса, надо снова приниматься за гимнастику), я подумал, а здесь ли сегодня Клара, что-то я ее не видел. Вчерашний вечер в ресторане прошел неплохо, я задавал ей десятки вопросов, потому что страшно боюсь пробелов в разговоре, а еще потому, что мне нравится слушать, как она говорит, но вот работает ли она сегодня, я не спросил. Хорошо бы увидеть ее. Вчера она была такая красивая, нарядная, я никогда ее такой не видел, здесь-то она все время ходит в своей пастельной униформе и пластиковых босоножках... Когда она вошла в ресторан, в простом черном платье и на каблуках, я, наверно, вылупил на нее глаза; надеюсь, она ничего не заметила. Мы смеялись, разговаривали по душам, но не поцеловались. Я даже не попытался. Не хочу торопить события. И потом, мне хотелось бы больше уверенности.

Четвертый этаж, я запыхался, конечно, но не слишком. Вхожу в коридор и сразу вижу Клару. Она стоит в дверях маминой палаты, прислонившись плечом к косяку, и смотрит внутрь комнаты. Мне становится тревожно, я иду к ней.

— Здравствуй, Клара. Что тут у вас происходит?

— Здравствуй, ничего страшного, не беспокойся. Но я думаю, что ее лучше сейчас не трогать, она, наверно, скоро перестанет. Смотри.

Мама стоит перед дверью спиной к нам. Ее правая рука сжата в кулак, она раскачивает ею взад-вперед, потом резко разжимает и смотрит в глубь комнаты, куда-то около стены. Потом она приподнимает правую ногу и ставит ее прямо на левую; чтобы удержать равновесие, ей приходится развести руки широко в стороны. Добившись устойчивости, она начинает странно, вприскок, продвигаться вперед, потом внезапно ставит правую ногу обратно на пол.

— Что это она делает?

— Ты не понимаешь?

— Нет.

— погоди, она еще не закончила, сейчас все начнется сначала.

Мама снова принимается за свое странное действие: наступая ногой на ногу, продвигается вперед и снова ставит ногу на пол. Но на этот раз, добравшись до стены и сделав последний скачок, она высоко поднимает руки. Выглядит она очень возбужденной.

— Ну что, теперь понял?

— Нет, не понял.

— Я думаю, что она играет в классики.

— В классики?

— Да, я уже довольно давно за ней наблюдаю и почти уверена в этом.

— Да?..

— Подожди, она снова идет к нам, сейчас начнет все сначала. Гляди, она прицеливается и бросает камешек, видишь? Теперь она скачет на одной ножке, вернее, думает, что скачет, потом, там, где две цифры стоят рядом, она расставляет ноги, потом опять скачет на одной ножке, и, смотри внимательно, она немного теряет равновесие — оп-ля! — потом снова расставляет ноги, где последние цифры стоят рядом, и, наконец, добирается до «неба». И выигрывает.

— Да, ты права. Похоже, она довольна.

— Мне тоже так кажется.

— Она каждый раз выигрывает?

— Да. По крайней мере, с того момента, как я за ней наблюдаю. Не меньше десяти раз подряд. Когда она скачет, это не так уж впечатляет, но в чем она действительно сильна, так это в бросании камешка... Каждый раз — в яблочко! Мне такое никогда не удавалось, а ведь перед тобой — бывший профессионал по классикам! Ужас школьных переменок!

Я рассмеялся, она улыбнулась в ответ, радуясь, что развеселила меня. Я провел рукой по ее спине, до самого низа и погладил изгиб поясницы.

— Руки прочь, донжуан! Если нас увидят, у меня могут быть неприятности.

— Да, прости.

— Отложи это про запас для другого раза, ладно? Впрочем, в следующий раз я тебя приглашаю. И не в ресторан, а к себе домой, мне хочется тебе что-нибудь приготовить! Идет?

— Все, что пожелаешь! Мне бы не хотелось вызвать неудовольствие ужаса школьных переменок...

— Вот и правильно. Потому что в шарики я побеждала всех мальчишек.

— Респект!

— Я же говорю — просто убийца!

Быстро оглянувшись по сторонам, она чмокает меня в губы. После чего уходит, чтобы продолжить обход. Я же замираю на несколько мгновений на месте с улыбкой на губах. Мне кажется, что, после того как она прикоснулась к ним поцелуем, они стали сладкими, или нет?

Потом туман у меня в глазах понемногу рассеивается. Возвращаемся в действительность. Мама по-прежнему выдвигает перед кроватью свои причудливые манипуляции. Бросает камешек, потом — скачет на одной ножке, потом — на двух, широко расставленных, потом — последний прыжок. Она улыбается, поднимает руки: опять победа! Мама на седьмом

небе от счастья.

### ***Мадлен, через три года после дня А***

— Дважды шесть — двенадцать. Трижды шесть — восемнадцать. Четырежды шесть — двадцать четыре.

— Хорошо. Продолжайте.

— Пятью шесть — тридцать. Шестью шесть... тридцать шесть!

Это просто. Нет, честное слово, эти их упражнения... Можно подумать, что мне четыре года — таблицу умножения им повторять! Надоели мне эти тренинги — смерть...

А школу я любила. Помню, как-то раз я упала и ободрала коленку, потому что была в юбке, кровь сильно текла и даже кусочек кожи болтался. Я так плакала, что учительница дала мне конфет. Оказывается, они у нее лежали в ящике стола. Меня это тогда очень удивило, я думала, что у учительницы в ящике — только ручки, бумага, циркули всякие, мел. А оказывается, нет, там, в ящике, были еще и леденцы с лакрицей. Надо признаться, что они меня действительно утешили. Добрая учительница, она потом умерла, но нам ничего не сказали, я узнала об этом только через несколько лет. Вместо нее появился странный мужчина, мы с девочками его совсем не любили, называли Дракулой, потому что он был очень бледный и все его боялись.

— Ну, Мадлен, идем дальше, теперь посложнее. Начинаем с семидесяти семи и каждый раз отнимаем семь. Хорошо?

— Хорошо. Значит, семьдесят семь. Хорошо. Семьдесят.

— Так, дальше.

— Так, было семьдесят, значит... э-э-э-э... шестьдесят три. Потом, это будет... пятьдесят... Пятьдесят два?

— Нет.

— Знаю, знаю, пятьдесят три!

— Нет, Мадлен. Сосредоточьтесь. Шестьдесят три минус семь равняется?... равняется?..

— Пятьдесят... четыре?

А в другой раз, тоже в школе, у моей сестры украли пенал. Тот мальчишка, сын нашей соседки, так сильно ударил по мячу, что он перелетел через ворота и разбил окно в детском саду, рядом с нами. Ну и

влетело ему тогда! По полной, нам всем было не до смеха. Нет, хорошо все же было в школе.

— Ну же, Мадлен, вы отвлекаетесь. Еще одно усилие, пожалуйста, отнимаем каждый раз по семь. Вы остановились на шестидесяти трех.

— Да, шестьдесят три.

— Ну и? Шестидесят три минус семь это будет?.. это будет?..

Нет, она действует мне на нервы! Та, другая, — хорошая, добрая, а эта — такая высокомерная, нет, это совсем не то!

— Я прекрасно знаю, сколько это будет. Но у меня от вас голова разболелась. Всё, я больше не хочу.

## Три Итог

### *Томб, через шесть с половиной лет после дня А*

За несколько месяцев все стало просто ужасно. Альцгеймер пошел в наступление по всем фронтам. Несколько раз мама падала, пропуская последние ступени лестницы, так, что даже сломала себе лодыжку. Для удобства, пока не сняли гипс, ее усадили в кресло-каталку. Потом гипс сняли, но мама с кресла так и не встала. Можно подумать, что от вынужденного долгого сидения она забыла, что умеет ходить. Это — конец, больше она ходить не будет, это ясно всем.

Все — это врачи. Они уже давно перестали выказывать какие-либо признаки оптимизма, теперь же настала новая стадия — они заговорили о начале конца. Меня предупреждают. Мне объясняют, как мама скоро окончательно превратится в овощ, а затем с умным видом перечисляют возможные причины, по которым через некоторое время она умрет: остановка сердца, пневмония, еще что-то... Через какое время? О, этого они не знают. Нельзя сказать. Это зависит от больного. «Некоторые живут с этой болезнью по двадцать лет, представляете?» Но большей частью это длится лет восемь, говорит один, между семью и девятью годами, уточняет его коллега. Я, конечно, не математик, но мне кажется, что это одно и то же.

С общением покончено навсегда. Клара сказала, что с некоторых пор рука, следовавшая во время мытья за губкой, тоже исчезла. Если маме и случается что-то сказать или издать какой-нибудь звук, она делает это, обращаясь не к нам, живым, а исключительно к себе самой, или — кто знает? — к воображаемым существам, живущим вокруг нее или внутри.

Клара честно говорит: «Начинается самое плохое», а мне трудно представить себе, что может быть хуже последних лет. Тогда она обнимает меня и говорит, что будет рядом — рядом со мной, с мамой, чтобы поддержать нас. Клара любит меня, это видно невооруженным глазом, пусть она еще ни разу и не сказала мне об этом; я тоже люблю ее и часто повторяю это ей вслух, потому что знаю, что по мне этого не видно. Я считаю, что это — правильное равновесие.



Когда я спрашиваю ее, что же это за «самое плохое», она начинает говорить об истощении, о полной потере самостоятельности вплоть до того, что мама разучится сама есть, не в смысле подносить вилку ко рту, нет, это и так ясно. Ближе к концу речь идет об утрате навыка приема пищи в прямом смысле слова: больной не знает, что ему делать с едой, которую вы вкладываете ему в рот. Жевать, пережевывать, глотать? Все забыто.

Но есть кое-что и почище, вернее, похуже: если мама не умрет раньше, она может дойти до немыслимого состояния, до извращения, о котором я и не подозревал: она разучится глотать собственную слюну. Я попросил Клару повторить, чтобы увериться, что не ослышался: часто бывает, что больные доходят до того, что не могут больше глотать свою слюну.

Итак, то, чего я боялся, свершилось: мне хочется, чтобы мама поскорее умерла.

### ***Мадлен, через три с половиной года после дня А***

Ну, что это за возня там у двери? Безобразие: в собственном доме ни минуты покоя!

— Кто там?

— Это я, Томб!

Томб? Я не знаю никакого Томб! Хотя голос знакомый...

— Кто это — Томб?

— Медбрат, который за тобой ухаживает!

Медбрат? Это еще что такое? Ах да, какая я глупая! Голос... Это же голос моего Макса! Он вечно шутит, чтобы меня развеселить! Значит, он вернулся? Как я рада!

— Ах, это ты! Как мне тебя не хватало!

Но... он не один? Кто это с ним? Нет, скажите, что я сплю! Не может быть, это... это она? Неужто она? Здесь, у меня в доме? Но что она тут делает? Куда она идет? Нет, не может быть, я, наверно, сейчас проснусь... Эта женщина здесь, у меня в доме, и она смеет распускать передо мной хвост? Да еще и держится как у себя дома! Пусть только подойдет! Только подойди ко мне, потаскуха! Она чуть не увела у меня Макса, она все сделала, чтобы отнять его у меня, корчила из себя этакую тихоню, недотрогу, прикидывалась такой любящей подружкой, а все только чтобы залезть в постель к моему мужу, предательница... И главное — когда я была беременная! Он клялся, что это было всего лишь раз, что он никогда

ее больше не увидит... И вот они вместе, разговаривают, как будто меня тут нет, как будто я и вовсе не существую!

Но что это? Она идет ко мне? И еще имеет нахальство мне улыбаться?

— Ну, я пошла, а ты остаешься с Томб, мама!

Я сплю, или она и правда назвала меня мамой? И вместо «Макс» она сказала «Томб»? Мало того, что она сучка, у нее еще и не все дома! Что же это такое делается? Она все-таки подходит ко мне?

— Ну что? Ты меня даже не поцелуешь?

— Ах, ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала, шлюха ты этакая? На-ка, поцелуй лучше вот это!

Ага, получила?! Она думает, что может приходить ко мне вот так и отнимать у меня Макса? Сейчас она у меня узнает, почему фунт изюма!

— Хочешь еще, мерзавка? Еще по роже захотела?

Сейчас, сейчас я тебе покажу, ты у меня не так запоешь... Но почему это Макс меня удерживает? Ей же за дело попало!

— Мерзавка, сучка!

— Мама! Ну, успокойся же!

Они что, сговорились? Против меня? Макс ее защищает? Чем это она его приворожила?

— Потаскуха, дрянь!

— Мадлен!

Макс заорал на меня. Заорал громко. Макс никогда на меня не орал, он такой чудесный муж... Почему же он так поступил со мной? Я так люблю его... А он кричит на меня... из-за нее?

— Ну как же...

Не может быть, он же не бросит меня ради этой потаскушки! Я так боюсь, что он уйдет от меня... я... Макс мой...

— Как же ты мог?..

К горлу подступают слезы, нет, не могу... Лучше уйду к себе. Не хочу, чтобы Макс видел, как я плачу.

### ***Томб, через шесть с половиной лет после дня А***

Я подсчитал: уже почти восемь лет, как моя жизнь покатила ко всем чертям. Восемь нескончаемых лет, полных тоски, слез, потерь близких людей — мертвых и живых; и несмотря на все это, я жил, вернее, оставался в живых, подражая самому себе прежнему, но впустую. Я просыпался

каждое утро; по ночам спал мало, но все же спал. А в промежутке между этим — ничего. Мысли об отце, потеря невесты, возня с мамой.

Ничего.

А потом, совсем недавно, случились два маленьких чуда: Клара и моя работа. Свершилось — я снова пишу. Однажды вечером, примерно месяц назад, вернувшись от мамы, я проходил мимо компьютера и вдруг почувствовал в кончиках пальцев ее. Лаву. Она была там. Странное впечатление: ощутив это жжение, я сначала подумал, что это всплыла на поверхность старая забытая привычка, что-то вроде условного рефлекса при виде клавиатуры, но оказалось, нет: мне действительно хотелось работать. И я решил не сопротивляться; я стал писать так, будто я — это мама. Я говорил ее голосом о ее болезни, о том, как все это с ней случилось.

Мне хотелось почувствовать себя ею, влезть в ее шкуру — и именно сейчас, когда самой ее в этой шкуре уже фактически не было.

То, что я пишу, конечно, вымысел, но не совсем: ведь кто, как не я, может вернуть моей матери утраченный ею голос?

Кому, как не мне, дано право распоряжаться ее словами, выражениями, страхами, в которых она когда-то мне признавалась? В первый день я писал почти пять часов подряд, не вставая; я вновь вкусил это забытое чувство удовлетворения после того, как тебя «отпустило», после того как ты несколько часов жил вне времени, вне этого мира. В мамином мире на этот раз.

С тех пор я стал писать, не задавая себе лишних вопросов. Каждый день. Я написал уже семьдесят страниц, которые нелегко мне дались, мне было стыдно писать некоторые вещи, вкладывать в уста моей матери некоторые высказывания, фантазировать, придумывать объяснения ее безотчетным поступкам. Но мне плевать: я имею право.

Я еще не знаю, что сделаю с этими страницами, когда они будут закончены. Когда все будет кончено. Посмотрим. А может, напечатать их в единственном экземпляре и потихоньку положить маме в гроб, чтобы это осталось между нами — между мной и ею, — и чтобы она унесла свои секреты с собой в могилу?

***Мадлен, через три с половиной года после дня А***

У меня просто зла не хватает! Надоело, осточертело, остохренело!

Никто не желает мною заниматься, кроме этого молодого человека. Макса никогда не бывает дома, уехал не знаю куда, другой — то же самое, и вообще, не знаю я. Всё, всё, всё! А этот стул что тут делает? Опять штучки этой дуры, моей сестры? Хороша! Вот дрянь какая! Телевизор работает, когда захочет: то работает, то нет, то работает, то нет, надоело, осточертело, остохренело! Но хуже всего — эти туфли, ужас, кончики пальцев болят, но я все равно пытаюсь вязать, телевизор — просто слов нет, работает, когда захочет: то работает, то нет, то работает, то нет, надоело!

Интересно, во сколько мама ждет меня к обеду, только в этих туфлях я никуда не дойду, вот дура мама! Нет, она хорошая, только вот телевизор — работает, когда захочет: то работает, то нет, то работает, то нет, то работает, то нет, то работает, то нет, то работает, то нет, надоело, осточертело, остохренело, один этот милый молодой человек, только он ворует мои чеки, это точно, я знаю, ну, ничего, я их спрячу.

Если бы еще были люди, или хотя бы собаки, как эта, у учительницы, да, туфли, это еще было бы ничего, но тут ничего не поделаешь, и вязать не получается или еще что-нибудь делать, надоело, осточертело, ой, кто-то ходит по коридору, кто это такой, а, это тот молодой человек, это он ходит по коридору, молодой человек, который за мной ухаживает, ходит по коридору, наверно, с моими чеками, ворюга, мне теперь не купить себе телевизор, а он то работает, то нет, то работает, то нет, то работает, то нет, то работает, то нет. Работает. Ну, если так, то — нет, ни за что, стул, черт-те что, туфли, Макс уехал неизвестно куда с другом, с этим Томб, интересно, когда они вернутся, этот Томб плохо влияет на моего сына, осточертело, остохренело, как в телевизоре, опять этот медбрат со своими штучками, сволочь, чеки у меня ворует по ночам и с телевизором фокусы выделывает. А он то работает, то нет, то работает, то нет, а он по коридору ходит, это он, он, я знаю, он у меня получит, если и дальше будет ходить и выделывать фокусы с телевизором, или он спрятал кого-нибудь. Я есть хочу, мама, она тоже мне на нервы действует.

У мамы теперь нет одной груди, бедняжка, это потому что она заболела. Это такое уродство, когда всего одна грудь, ужас, страшно смотреть: нормальная грудь, а рядом — отрезанная, жуть. А вообще-то по телевизору только это и показывают — сиськи, когда он работает, конечно, а он то работает, то нет, то работает, то нет. Надоело, осточертело, остохренело! Сволочь этот телевизор!

Нет, он хороший.

Тварь.

## Четыре

### Будни

#### *Томб, через семь лет после дня А*

Три часа в день с никем — это много. Я сижу рядом с ней, я держу ее за руку, когда она это позволяет, но я — один. Иногда мне нравится представлять себе, что она заперта в крошечном скоплении клеток, приютившимся где-то в глубинах ее мозга, и что она, как бывает у впавших в кому, слышит все, что я ей говорю. Все кругом говорят мне, что этого не может быть, что это невозможно, учитывая поражения мозга, которые вызывает болезнь, но на самом деле наверняка ничего не известно, а потому я не оставляю попыток. В любом случае, мне нечего терять.

Решив вести себя честно и благоразумно, я допускаю, что мое ежедневное присутствие действительно ничего не меняет: здесь я или нет, один я рядом с ней или нас сотня, она все равно в одиночестве. Или, в худшем случае, ее тоже нет — никого нет. В таком случае, я мог бы время от времени, в плохую погоду или когда заболел, позволить себе не ходить туда, остаться дома, в тепле, чтобы подлечиться или просто воспользоваться первым за долгие годы свободным днем. Это никому не принесло бы вреда.

Но вся беда в том, что я не желаю быть ни честным, ни благоразумным. Я желаю поступать так, как хочу, как чувствую. Я знаю, что должен быть там, так надо. Конечно, всегда найдется психотерапевт, который скажет, что я делаю все это не столько для нее, сколько для себя, и расскажет много чего про спокойную совесть и все такое, но мне это до лампочки; мое место там, рядом с ней. Со временем на меня стали смотреть иначе: если раньше во мне видели преданного, любящего сына, то теперь кое-кто смотрит на меня как на чудака, а может, и вообще на тронутого. Я заметил эту перемену несколько дней назад: в привычное время я открывал стеклянную дверь дома престарелых и, здороваясь с врачом, заметил, как позади него две санитарки, глядя на меня, шепнули что-то друг другу на ухо; потом одна из них подняла глаза к небу и покачала головой с видом: «Ну вот, опять он тут точно по расписанию, маменькин сынок!» (Тут, очевидно, было употреблено какое-нибудь

нелестное прозвище, которое у меня, естественно, уже имеется, как у всех людей со странностями.) Я обратил внимание, что в их взгляде нет прежнего сострадания и понимания. Не знаю, почему все переменялось. Не знаю, да мне, в сущности, и наплевать.

Глубоко наплевать. Я очень давно научился не обращать внимания на непонимание окружающих, и именно из-за прозвища. Мне было лет шестнадцать-семнадцать, и мы с отцом — в кои-то веки — поехали вместе в Италию. Он терпеть не мог никуда ездить, но на этот раз ему очень хотелось показать мне деревню в окрестностях Падуи, где родились его родители, и мы прожили там несколько дней у его престарелой тетушки. Деревня была такая маленькая, такая тихая, что там ничего не могло пройти незамеченным, так что дня через три-четыре я заметил, что каждый день примерно в одно и то же время, после обеда, мимо дома проходит старик с цветком в руке. Я спросил тетушку, кто это и почему он прогуливается всегда с цветком.

— Он не прогуливается, он идет на кладбище.

— Да?

— Да, каждый день в одно и то же время, вот уже больше сорока лет.

— Больше сорока лет?

— Да. И он не пропустил ни одного дня. Что бы ни происходило, в час дня он проходит через всю деревню — пешком, не на машине, — под дождем, под снегом — все равно, и идет на кладбище, чтобы отнести этот цветок своей жене.

— Его жена умерла больше сорока лет назад, а он каждый день относит ей цветок?

— Да.

— Ненормальный!

Я и правда так думал. В свои семнадцать лет я не мог себе представить такую любовь, такое самопожертвование, такую верность. По всей логике, старик был ненормальный. Мне все это показалось крайне забавным — отличный анекдот, которым дома можно будет поделиться с приятелями.

— Знаешь, как его называют у нас в деревне?

— Нет, а как? Наверно, как-нибудь смешно? Псих с цветочком? Мистер Гроб? Могильщик-одуванчик? А что, неплохо!

— Нет. Его называют Аморозо.

— Аморозо? Влюбленный? Всего-то?

— Да. И это не так уж мало. Когда-нибудь ты поймешь.

Я пожал плечами и удалился в свой угол хихикать над стариком. На следующий день я стал его специально поджидать. Около часа дня я увидел

его в конце улицы. Он шел медленно, а когда поравнялся с нашим домом, приветствовал меня, дотронувшись пальцами до полей шляпы. Вблизи он выглядел действительно очень-очень старым. Ему понадобилось много времени, чтобы пройти улицу до конца; все это время я шел за ним, до маленького кладбища, расположенного в середине деревни. Я увидел, как он с трудом опустился на колени перед могилой, ничем не отличавшейся от остальных, за исключением стоявшей с краю вазочки с прекрасным белым цветком, который старик заменил на красную розу. И тут он заговорил. Он обращался к своей жене, умершей сорок лет назад. Он говорил долго, прошло много-много минут, он все разговаривал с ней, а потом поцеловал собственную руку, лежавшую на холодном камне. После этого поцелуя он с большим трудом поднялся на ноги. Я же отступил назад, чтобы он меня не увидел, и бегом вернулся домой. Несколько минут я оставался у себя в комнате, сердце ныло, мне было грустно. Вернее, я был взволнован. Тетушка сказала, что когда-нибудь я пойму. И вот, чтобы понять, мне хватило одного дня.

Вот и сегодня я не раздражаюсь на девиц, которые поднимают глаза к небу, а думаю, что когда-нибудь и они поймут.

### *Мадлен, через четыре года после дня А*

— Нет!

— В ночь со среды на четверг мужчину видели в белом грузовике, если вам известно что-то о человеке, подходящем под это описание, позвоните по номеру, который вы видите на экране.

— Что, опять?..

— Переходим к спорту, сначала о футболе, Лига чемпионов началась не самым удачным образом для клубов-фаворитов, «Барселона» сыграла вничью на своем поле...

— О, господи...

— ... в то время как «Манчестер юнайтед» проиграл на чужом поле три — два, вы видите гол, забитый на последней минуте матча, повлекший разгром манчестерцев, отлично сработано, молодцы ребята!

— Перестань!

— Мы заканчиваем наш выпуск, как всегда, прогнозом погоды и метеокартами, которые, как вы видите, обещают довольно мягкие для этого времени года погодные условия...

— Ладно, мама, хватит, я выключаю! Ты меня с ума сведешь! Ну, сколько можно повторять за всеми? Завтра куплю другой телевизор — тебе в комнату!

### ***Томб, через семь лет после дня А***

Я решил перебраться жить к Кларе. На самом деле первый шаг сделала она, сказав, что могла бы переехать ко мне, но мне захотелось самому сменить обстановку. Мы подумали было снять квартиру, чтобы она не была ни моей, ни ее, — этакое нейтральное жилище, но мне нравилась ее квартира, мне уже было там хорошо, удобно. Так что мы решили сделать так. Мы назначили официальную дату переезда — через две недели, и я, естественно, позвонил Роберу, чтобы попросить его помочь. Вообще-то, я мог этого и не делать: не так уж много у меня вещей. Я и забыл, что уже однажды побеспокоил его практически из-за ерунды, когда переезжал к маме: тогда мне нечего было перевозить, кроме каких-то тряпок и моего большого телевизора. На этот раз вещей оказалось и того меньше, потому что половина была уже у Клары, а большой телевизор отдал богу душу за несколько месяцев до того. В результате, мы съездили всего два раза туда-обратно на машине Робера, подвеска которой явно не пострадала от веса нескольких картонных коробок, наполовину заполненных всякой всячиной, и пакетов с моими шмотками. Думаю, нам хватило бы и одной поездки, но тогда это совсем не было бы похоже на настоящий переезд и мы не заработали бы права на законную пиццу для бравых грузчиков, заказанную Klarой на дом и доставленную, как водится, с большим опозданием и почти остывшей. Чудесный день.

С тех пор у меня выработался новый распорядок дня, новые привычки. День начинается с того, что я с трудом продираю глаза, это первое действие я произвожу около семи утра, когда звонит Кларин будильник. Обычно Клара меня целует, и я спешу закрыть глаза снова, после чего — о чудо! — опять засыпаю. Я заново открываю для себя ни с чем не сравнимое удовольствие придавить семь-восемь часиков кряду, без кошмаров, без ночных пробуждений. А если таковые и случаются, то мне теперь удастся заснуть снова, сжав в объятиях Klarу — если она еще рядом, или подушку — если Клара уже ушла на работу. Когда я окончательно открываю глаза, на часах уже одиннадцать или двенадцать, в зависимости от того, до которого часа накануне меня не оставляло вдохновение — до трех утра или



до четырех. Пишу я только ночами, когда Клара спит. Такой ритм оставляет мне время на занятия спортом по утрам — я плаваю, понемногу восстанавливаю прежнюю форму, это идет мне на пользу, я выгляжу уже не таким постаревшим, думаю, теперь мне снова можно дать мой возраст. Потом я съезжаю что-нибудь легкое и еду к маме, возвращаемся домой мы с Кларой почти в одно время и до вечера больше не расстаемся.

Жизнь моя налаживается, это всем ясно. Жюльетт и Робер обожают Клару, они рады, что я снова живу своей жизнью и пишу. А вот мамины дела ухудшаются с каждым днем.

И меня часто мучит совесть, оттого что я снова счастлив.

### ***Мадлен, через четыре с половиной года после дня А***

Какое чудное солнце! Так хочется гулять, надо же пользоваться такой прекрасной погодой! Где мои туфли? А, черт с ними... Солнечные очки и — гулять... Ну, пошли! А, ты тут, ты рада? Знаешь, мы сейчас пойдём гулять! Ах, как она рада, хвостиком так и машет! Я отведу тебя сегодня в такое местечко, тебе понравится, уж поверь мне! Ну-ка, сидеть! Сейчас поводок прицеплю! Вооот, спокойно, спокойно, хорошая собачка.

Ну, пошли, хоп, хоп! Как хорошо, что я надела очки, такое солнце — просто невероятно! Ну-ка, ко мне, мы идем на пляж! Ах, что за чудо — этот раскаленный песок под ногами...

В общем-то, даже хорошо, что я не нашла туфли. Я так люблю солнце, так приятно чувствовать его горячие лучи... Давай, постоим немного вот так, не двигаясь... Лицом к солнцу... Ах, какое счастье... Собачка тоже счастлива, разлеглась на горячем песке, потягивается и ворчит, словно кошка...

— Ну, что, Марни, я тебя не обманула?

Хорошо тут... Ах, как тут хорошо. Вот бы эти минуты никогда не кончались!

### ***Томб, через семь с половиной лет после дня А***

Мама в конце пути. Это все чувствуют. Клара привыкла, когда я говорю с ней об этом, она отвечает очень осторожно, но и она считает, что осталось совсем немного. Несколько недель. Может быть, несколько

месяцев. Жюльетт и Робер подавлены, как и я. Они звонят мне чуть ли не каждый вечер, но мне нечего им сообщить. Прежде они спрашивали меня: «Как мама?», теперь же их вопрос звучит так: «Ну, что там сегодня?» и все мы знаем, что именно стоит за этим «что». Это «что» означает расстояние, отделяющее маму от прибытия в конечный пункт ее путешествия; время, оставшееся ей до смерти. На самом деле вопрос должен звучать так: «Как по-твоему, когда мама умрет?» И вопрос этот меня больше не шокирует, потому что я и сам каждый день задаю его себе. Такие дела.

Мама часто болеет, у нее было воспаление почек, сильный грипп, пневмония. Она справляется, но ей это все труднее, каждый раз она все больше худеет, тает на глазах. Болезни одна за другой стирают последние черты прежней мамы, которые в ней еще оставались. Три дня назад у нее воспалился мочевой пузырь. Она вся напичкана лекарствами, не знаю, что там ей дают, я больше не спрашиваю.

Мама уже ничего не умеет делать. Ничего. Она полностью бездействует. Иногда она все же реагирует, по крайней мере, ее тело, неизвестно почему. Иногда, хотя это бывает все реже и реже, она пожимает или отталкивает прикоснувшуюся к ней руку, но в этом движении не чувствуется больше воли — один рефлекс.

Мама не реагирует больше на звуки. Совсем. Но я, конечно же, разговариваю с ней по-прежнему.

## Пять Остатки

### *Мадлен, через пять лет после дня А*

Волк.

Волк волк волк волк!

Волк! Мама!

Волк волк волк волк! Волк волк волк волк!

Мааааааа!

Три волка! Три волка три волка три волка три волка три волка три волка три волка три волка! Маааааааааааа!

Всюду волки всюду волки всюду волки, маааааааааааа!  
Маааааааааааа! Волки, мааааааааааааа!

Но волк, он, э-э-э-э, волк, нет, дядя! Он смеется? Дядя смеется.

Мааааааа... Дядя, дядя смеется.

Смеется.

Мама.

### *Томб, через восемь лет после дня А*

Каждый раз, как звонит телефон, у меня сжимается сердце: я думаю, что это тот самый звонок. Я боюсь его так же сильно, как жду. И все время думаю, что пересилит — чувство облегчения или горе.

Мне стыдно.

Как можно желать смерти того, кого ты любишь? Когда, при каком условии ты имеешь на это право? Когда это становится возможным? Добро это или зло?

В сущности, я никогда не знал, что есть добро, а что — зло. Надо сказать, что мой отец ничем не помог мне в этом разобраться; или вернее, он помог мне не быть в этом вопросе слишком категоричным. Мне было лет тринадцать-четырнадцать, я очень хорошо помню тот вечер и телепередачу, где несколько философов и религиозных деятелей всех мастей рассуждали на темы добра и зла: это было страшно скучно — тем

более что по другому каналу в это время шел боевик, — но отца, похоже, эта беседа очень занимала. Я попросил переключить на другую программу раз, два, потом пять, свою десятую просьбу я подкрепил железным аргументом: «Да пошли они со своей болтовней: добро — это когда не совершают зла, а зло — это когда не делают добра, вот и всё, смотрим кино!» Когда отец взялся за пульт, я решил было, что мое упрямство и идиотские доводы сработали, однако его реакция оказалось совсем иной, чем я ожидал: он просто выключил звук.

— Прекрасно, вредина, значит, ты не желаешь подумать над тем, что там говорят? Тебе непременно хочется переключить на другую программу?

— Ну да, пожалуйста, это же такая нудятина!

— Отлично. Тогда я сейчас задам тебе один вопрос. На ответ дается десять секунд, идет? Ответишь правильно — так и быть, смотри свое кино. Ну как?

— Давай! Только чтобы вопрос был не очень трудный!

— Да нет, он очень простой. Но — внимание! На ответ — десять секунд! Как только я тебе его задам, время пойдет!

— Да понял я, понял. Давай!

— Так вот. Тебе является Господь Бог...

— Хорошенькое начало.

— Он щелкает пальцами, и ты оказываешься в какой-то комнате. Комната выглядит несовременно, посреди нее стоит детская кроватка, а в ней — младенец.

— Младенец в кроватке? Надо же, как неожиданно! Круто!

— погоди, сейчас перестанешь смеяться. Бог снова щелкает пальцами, и у тебя в руке появляется нож. Большой, как у мясника, ну, огромный, короче, и острый, как бритва. И тут Господь Бог тебе говорит: «Мы в Австрии, сейчас 1889 год. Этого младенца зовут Адольф Гитлер. У тебя есть десять секунд, прежде чем мы снова вернемся в наше время». Что ты сделаешь? Десять секунд пошли.

— Я должен убить Гитлера? Да?

— Не знаю, ответ за тобой. Восемь, семь, шесть...

— Но я же не могу зарезать ребенка!

— Но так ты сохранишь миллионы жизней! Четыре, три...

— Нет, подожди, но все же, ребенок, я...

— Один, ноль! Ты проиграл!

— Дурацкая игра! И вопрос твой тоже дурацкий! Десять секунд нет времени подумать! Убить Гитлера, ладно, хорошо, но в виде ребенка...

— Ну, так что? Что есть добро? Что есть зло? Зарезать или нет?

Я приумолк, не зная, что ему ответить. А он нажал на кнопку и снова включил звук:

— Отлично. Тогда смотрим передачу дальше, может, она тебе поможет.

Впоследствии я сотни раз задумывался над этим вопросом. И часто менял мнение, в зависимости от возраста и периода жизни. Но чаще всего, я по-прежнему не знал, как поступил бы, действительно окажись в такой ситуации. Даже если бы на решение у меня было больше десяти секунд.

Мама — не Гитлер и не грудной младенец. Но вправе ли я желать ее смерти? Возможно, папа при помощи очередной хитроумной демонстрации и помог бы мне ответить... Если бы он еще был со мной.

Черт, до меня только сейчас дошло, что скоро я стану круглым сиротой.

### *Мадлен, через пять лет после дня А*

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Одна рука. Раз, два, три, четыре, пять.

Другая рука. Шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Одна рука. Раз, два, три, четыре, пять.

Другая рука. Шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Одна рука. Раз, два, три, четыре, пять.

Другая рука. Шесть, семь, восемь, девять, десять.

### **Томб, через восемь лет после дня А**

Мама не хочет умирать. Правда, ее уже нет с нами, как если бы все было уже кончено. От нее ничего не осталось, но ее сердце все еще бьется.

Мама не умеет больше есть, как нас и предупреждали. Она не успела умереть до этого. Мама не умирает.

Пить мама тоже больше не умеет. И ей больше не дают пить, иначе она захлебнется, потому что ее мозг не знает, что делать с этой водой. Он пытается вдохнуть ее, и мама начинает задыхаться.

Мама больше не пьет, воду она как бы ест. Да, такое возможно. Ей дают воду в желеобразном состоянии. Я раньше и представить себе не мог, что такое бывает: вода в баночке в виде желе, маме дают его с ложечки, это не так опасно, как в жидком состоянии; сначала я не понимал, я думал, что она с таким же успехом может вдохнуть и такую, желеобразную воду, но оказалось, что преимущество желе в том и состоит, что им не захлебнешься. Конечно, это все равно не особо приятно, все равно начнешь задыхаться, извиваться всем телом, но, скажем так: от этого не умирают. Потрясающе.

Я не знаю, люблю ли я ее по-прежнему.

Когда я вижу эту оболочку, в которой искусственно поддерживают жизнь, я уже не знаю, что чувствую. Это ощущение невыносимо, отвратительно, я отвратителен самому себе.

Умирай, мама, скорее умирай. Я хочу, чтобы ты умерла, я желаю этого — тебе, себе, чтобы снова любить тебя, как раньше.

Ну, давай, умирай, считаю до трех. Раз... два... три! Ну, что, ты не умерла, а мам? Ты не умерла, можно подумать, что ты не хочешь умирать. Значит, ты не мертвая... а какая тогда? Когда человек ни жив, ни мертв — какой он? Что ты теперь, мама?

Давай попробуем еще разок, хорошо? На счет три: раз... два... три!

Умирай, мама, умирай скорее, прошу тебя. Я готов отдать часть своей жизни — только бы ты умерла.

## ***Мадлен, через пять с половиной лет после дня А***

Как я люблю этих голубков. Они обожают хлеб, я режу его на кусочки и кидаю им, и они набрасываются на него и клюют. Иногда из-за нескольких крошек они устраивают целую драку. А однажды я держала хлеб, и два голубя сели мне на руку и стали клевать прямо из ладони, да, да, я чувствовала, как они стучат клювиками по ладошке, папа стоял рядом, у меня за спиной, он видел!

Иногда они не прилетают, и тогда я беспокоюсь, но потом я снова прихожу и вижу их. Они меня ждут! Как я их люблю, моих голубков! Во время еды я откладываю для них хлебца, прячу в кармашек. А голуби за это принесли мне куколку — голыша. Раньше у меня не было голыша, а теперь есть — спасибо им. Это — мальчик, когда он совсем голенький, у него видно письку — маленькую-маленькую. Я обожаю моего голыша, какие милые эти голубки, вообще, голуби — самые милые птицы на свете, они улетают высоко в небо, прямо в космос, бороздить разные планеты, а потом прилетают обратно, ко мне, за хлебцем, который я прячу для них в кармашек за столом, так они смогут бороздить космос еще дальше и принесут мне оттуда подарки. Голуби принесли мне голыша с маленькой писькой, мальчика, голуби — самые красивые на свете, они красивее львов и даже телевизора, спасибо.

## Шесть

### Уход

*Томб, через восемь с половиной лет после дня А*

Как с папой. То же горе, в точности. Та же невыносимая боль.

Все совсем не так, как я себе представлял. Никакого чувства облегчения, никаких «Время пришло», или «Для нее так лучше», или «Она перестала страдать» — ничего такого. В ту секунду, когда мне сказали об этом, я не был сыном тяжело больной матери, которому сообщили наконец о ее освобождении. Я был всего лишь сыном, который узнал о смерти матери.

Точно так же, как мы запоминаем запах и вкус, мы помним и нашу боль. Мое тело вспомнило папину смерть, всю эту цепочку реакций, и, когда голос по телефону сказал: «Мне очень грустно говорить вам об этом, мсье, но ваша матушка только что нас покинула», оно среагировало точно так же. Сначала потеря слуха и дара речи, потом, сразу после этого, потеря всякого представления о времени, о пространстве, полный вакуум. А потом нахлынула волна огромного, бескрайнего горя.

Тело не может этого вынести.

Когда они позвонили, Клара была рядом со мной, было одиннадцать вечера, и мы досматривали какой-то фильм. Когда раздался звонок, и на дисплее высветилось «Дом п.», я сразу все понял, но еще надеялся, что речь пойдет о каком-то срочном медицинском вопросе, о принятии какого-нибудь решения, о согласии на какую-нибудь процедуру, необходимую для лечения очередного воспаления легких.

Нет. Это был тот самый звонок. Последний. Мне не понадобилось ничего объяснять Кларе, все сказали мои слезы. Я позвонил Жюльетт, но не смог выговорить ни слова. Она заплакала. Я передал телефон Кларе, которая сказала только: «Встречаемся там», потом набрал номер Робера и сразу отдал телефон Кларе, которая поплакала вместе с ним. Я надел куртку, мне было холодно. В мертвой тишине я зашнуровал ботинки, и мы помчались в дом престарелых.

Что было дальше, я не помню.



## *Томб, через восемь с половиной лет после дня А*

Вереница машин к церкви, мы с Жюльетт и Робером впереди, свечи, орган, какие-то слова, которых я не понимаю. Вереница машин к кладбищу, мама рядом с папой, навсегда. Мы с Жюльетт и Робером по-прежнему впереди, держимся за руки, Жюльетт, наша младшенькая, посередине, под нашей защитой, склоняет голову на плечо то одному из нас, то другому. Время от времени она отпускает руку одного из нас, чтобы вытереть слезы, а потом снова хватается за нее. Какая она маленькая и хрупкая, наша Жюльетт.

Потом семья собирается в доме у мамы: одни остаются на традиционный поминальный ужин, другие — те, кто хочет уехать обратно, пока не стемнело, зашли просто освежиться перед дорогой.

Рассказывать нечего, слезы, слезы, опять слезы и бесконечные: «Так лучше для нее», звучащие из уст тех, кто понятия не имеет, лучше это для нее или нет, учитывая, что последние годы они не появлялись рядом с ней ни каждый день, ни раз в неделю, ни раз в месяц, — разве что позванивали.

Дни проходят в вакууме, ни быстро, ни медленно, в искривленном времени, несколько минут передышки, когда вдруг забудешь, но забыть надолго не получается. Ночи почти без сна, с пробуждениями в слезах и утешительными объятиями Клары.

Клара.

Бумаги.хлопоты. Жюльетт снова превратилась в Жюльетт, занимается всем этим со знанием дела, постоянно спрашивая у нас с Робером нашего мнения. Нотариус. Деньги, совсем немного. Дом.

И вдруг — сюрприз. Три письма. Три конверта из крафтовой бумаги, которые несколько лет назад мама отдала на хранение нотариусу. Наши имена, надписанные маминым изящным, округлым почерком: по одному имени на каждом конверте. Мы плачем, уже. Мама написала нам письмо — каждому.

— Если вы желаете прочесть их сразу, я могу выйти на несколько минут, вас никто не побеспокоит.

Мне хочется сказать: «Нет, мы прочтем позже», но Жюльетт опережает меня: «Да, желаем, спасибо большое». Нотариус выходит, а мне не хочется вскрывать конверт.

— Будем читать вслух по очереди?

— Нет, Жюльетт. Мама написала нам не всем троим, а каждому в отдельности. Я за то, чтобы каждый прочитал свое письмо, и всё.

— А ты как думаешь, Робер?

— Я согласен с Томб. И что бы там ни было написано, я не в состоянии прочесть это вслух. Позже мы поговорим об этом, если захотим.

— Ладно, хорошо.

— Да, может быть, позже.

Я отодвигаюсь вместе с креслом и поворачиваюсь лицом к стене. Я не хочу, чтобы они меня видели. Сначала я ощупываю маленький коричневый конверт; кажется, там ничего нет, кроме картонной карточки, вроде поздравительной открытки. Как можно осторожнее, я распечатываю его и, действительно, нахожу внутри простую карточку бристольского картона с написанными на ней несколькими фразами. Никаких длинных речей, никаких исписанных страниц, заполненных словами любви: спасибо, мама. Этого я бы не вынес.

Я достаю карточку, и на пол падает сложенный вдвое тонкий листок; я не заметил его сначала в глубине конверта. Я поднимаю его: это страница из какой-то книги. Внимательно разглядываю конверт, но внутри больше ничего нет. Я незаметно оглядываюсь на брата и сестру: Робер держит в руке обрывок какой-то ткани и заливается слезами, а Жюли разглядывает маленькую сережку, которая производит на нее такое же действие. Я не понимаю, зачем мне эта страница. Я разворачиваю ее, читаю первую фразу и тут же узнаю: это страница из моей первой книги. Она аккуратно вырезана, очевидно, ножом для бумаги. Я быстро оглядываю чуть пожелтевшую страницу, переворачиваю, смотрю на обороте, там нет ничего особенного, ни аннотации, ни чего бы то ни было, что бросалось бы в глаза. Тогда я обращаюсь к карточке, которую держу в другой руке, и читаю, что на ней написано.

Мой дорогой Томб,

Скоро я разучусь говорить, поэтому мне хочется написать тебе, чтобы сказать главное. Ты, конечно, узнаешь эту страницу. Она — из твоего романа, который стоит у меня в книжном шкафу, самого первого, ты подарил мне его с дарственной надписью, помнишь? Взгляни внимательно на эту страницу. Ты видишь, она покоробилась в четырех местах? Видишь эти кружочки, где краска чуть-чуть растеклась? Это следы моих первых слез, которые я пролила, читая твою книгу. После были, конечно, другие, но эти я никогда не забуду. Знаешь, никогда я не испытывала такой гордости. Эта страница

так важна для меня... Я хочу, чтобы она была у тебя.  
Мне будет приятно, если ты сохранишь ее на память обо мне.

Я никогда не забуду тебя, зеница моих очей.  
Твоя любящая мама.

## Эпилог

### *Мадлен, через пять с половиной лет после дня А*

Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай, баю-бай, баю-бай, спи, малютка, засыпай... Я так люблю моего голыша, он такой хорошенький, такой красивый, обожаю баюкать его и петь ему песенки. Спи, спи, мой маленький... Ой, папа пришел!

— Папа, ты пришел!

— Я... Да, я пришел...

— Говори потише, он спит.

— Кто спит?

— Ну, Элвис же!

Ох уж этот папа, иногда такое скажет! Он же видит — это мой голыш, мой красавчик, мой Элвис!

— А кто это — Элвис? Твой ребеночек?

— Да, нет же, папа! Ничего себе, скажешь тоже, я же еще маленькая, у меня не может быть ребеночка! Элвис — это мой голыш, куколка!

Вот смешной этот папа. Но когда-нибудь он у меня правда будет, ребеночек, настоящий, ну да, когда я вырасту! У меня будет свадьба, платье, как у принцессы, как у мамы на тех фотографиях, только еще лучше, с длиииинным шлейфом, прямо как у принцессы, и у меня на свадьбе будут голуби и пирожные, а потом у меня будут детки, настоящие, не такие, как Элвис! Я даже знаю, как получаются дети, правда-правда, знаю.

— Ну, поехали.

— Куда это? В школу?

— Да, именно. Мы едем в новую школу.

— А можно мне взять с собой Элвиса?

— Конечно можно.

— Ты слышал, Элвис? Ты пойдешь со мной в школу! В новую школу!

Вот здорово! К тому же в новой школе я расскажу им, как получаются дети! Классно! Они, конечно, ничего там не знают, я им расскажу, как будет, когда я вырасту. Сначала будет свадьба с платьем, как у принцессы, с голубями и пирожными, а потом у меня родится ребеночек, мальчик, самый-самый настоящий. Только я не стану называть его Элвис, как

голыша. Нет, если у меня будет настоящий ребеночек, я назову его... я назову его... Томб! Вот!

А что, очень красивое имя — Томб...

# Table of Contents

[Сирил Массаротто Первый, кого она забыла](#)

[Часть первая](#)

[Один Крушение](#)

[Два Ложь](#)

[Три Итог](#)

[Четыре Будни](#)

[Пять Остатки](#)

[Шесть Уход](#)

[Часть вторая](#)

[Один Крушение](#)

[Два Ложь](#)

[Три Итог](#)

[Четыре Будни](#)

[Пять Остатки](#)

[Шесть Уход](#)

[Эпилог](#)